

Джером Клапка Джером Трое на четырех колесах

Перевод: Александр Ливергант

ГЛАВА I

Желание переменить образ жизни. – Нравоучительный случай, доказывающий, что обманывать не стоит. – Нравственное малодушие Джорджа. – Идеи Гарриса. – Рассказ об опытном моряке и неопытном, спортсмене. – Веселая команда. – Опасность плавания при береговом ветре. – Невозможность плавания при морском ветре. – Дух противоречия у Этельберты. – Гаррис предлагает путешествие на велосипедах. – Джордж сомневается насчет ветра. – Гаррис предлагает Шварцвальд. – Джордж сомневается насчет гор. – План Гарриса относительно подъема на горы. – Миссис Гаррис прерывает беседу.

– Нам необходимо переменить на время образ жизни, – сказал Гаррис.

В эту минуту дверь приоткрылась и в ней показалась головка миссис Гаррис. Этельберта прислала ее напомнить мне, что нам не стоит засиживаться, потому что Кларенс остался дома совсем больной. Лично мне беспокойство Этельберты кажется излишним. Если мальчик с самого утра выходит гулять с тетей, которая при первом же его многозначительном взгляде на витрину кондитерской заходит с ним туда и пичкает его булочками с кремом до тех пор, пока он не начнет утверждать, что в него больше не лезет, – то нет ничего подозрительного в том, что после этого за завтраком он съедает только одну порцию пудинга. Но Этельберта приходит в ужас и решает, что у ребенка начинается какая-то серьезная болезнь.

Миссис Гаррис прибавила еще, чтобы мы поскорее шли наверх, так как Муриэль собирается прочесть нам комическое описание праздника из «Волшебного царства». Муриэль – старшая дочка Гарриса, умная, бойкая девочка восьми лет; мне больше нравится, когда она читает серьезные вещи; но тут все же пришлось ответить, что сейчас мы докурим и придем, а Муриэль пусть подождет. Миссис Гаррис обещала занять ее, насколько возможно, и ушла. Лишь только дверь закрылась, Гаррис повторил прерванную фразу:

– Да, положительно нам нужна перемена обстановки. Возник вопрос, как это устроить. Джордж предложил уехать якобы по делу. Такие вещи могут предлагать разве что холостяки: они воображают, что замужняя женщина не сумеет даже перейти улицу, когда ее выравнивают паровым катком, не говоря уж о том, чтобы разобраться в делах мужа. Я знал одного молодого инженера, который решил съездить в Вену «по делу» и сообщил об этом жене. Она пожелала узнать – по какому делу. Он сказал, что ему необходимо осмотреть земляные работы в окрестностях Вены и написать о них отчет. Она заявила, что тоже поедет. Муж ответил, что считает земляные рвы вовсе не подходящим местом для прелестной молодой женщины. Но оказалось, что она сама это прекрасно понимает и вовсе не намерена ломать ноги по разным канавам и туннелям, а будет ждать его в городе: в Вене можно прекрасно провести время, ходя по магазинам и делая покупки. Выпутаться из глупого положения оказалось невозможным, и мой приятель десять дней подряд осматривал земляные работы в окрестностях Вены и писал о них отчеты для своей фирмы, решительно никому не нужные, которые жена собственноручно опускала в почтовый ящик.

Я не думаю, чтобы Этельберта или миссис Гаррис принадлежали к такому типу жен, но, хотя они и не принадлежат, к «делам» без крайней надобности все-таки прибегать не следует.

– Нет? – возразил я. – Надо быть честным и прямодушным. Я скажу Этельберте, что человек не может вполне оценить свое счастье, пока оно ничем не омрачено. Я скажу ей, что решаюсь оторваться от семьи на три недели (по крайней мере), чтобы в разлуке полностью осознать, как балует меня счастьем судьба. Я объясню ей, – продолжал я, повернувшись к Гаррису, – что это тебе мы обязаны такой...

Гаррис поспешно опустил на стол стакан вина:

– Я бы предпочел, чтобы ты не объяснял все так дотошно своей супруге, – перебил он, – если она начнет обсуждать подобные вопросы с моей женой, то на мою долю выпадет слишком

много чести.

– Ты ее заслуживаешь.

– Вовсе нет. Собственно говоря, ты первый высказал эту мысль; ты сказал, что нерушимое счастье у домашнего очага пресыщает и утомляет.

– Я говорил вообще!

– Мне твоя мысль показалась очень меткой; я хотел бы передать эти слова Кларе, ведь она так ценит твой ум.

– Нет, лучше не передавай, – перебил я, в свою очередь, – вопрос несколько щекотливый, и надо поставить его проще: скажем, что Джордж это выдумал, вот и все.

У Джорджа положительно нет никакого понятия о деликатности, этим он меня очень огорчает: вместо того, чтобы не медля вывести двух старых товарищей из затруднения, он начал говорить неприятности:

– Вы им скажите, или я сам скажу то, что я действительно предлагал: отправиться всем вместе, с детьми и с моей теткой в Нормандию, в один старый замок, который я знаю; там чудный климат, в особенности для детей, и прекрасное молоко. Я лишь прибавлю, что вы моего плана не одобрили и решили, что одним нам будет веселее.

С таким человеком, как Джордж, нечего любезничать.

Гаррис отвечал ему серьезно:

– Хорошо. Мы снимем этот замок. Ты обещаешься привезти свою тетку, и мы проведем целый месяц в недрах семейства; ты будешь играть с детьми в зверинец: с прошлого воскресенья Дик и Муриэль только о том и толкуют, какой ты чудный гиппопотам. Джорджа дети тоже любят, он займется с Эдгаром рыбной ловлей. Нас будет всего одиннадцать душ – это в самый раз, чтобы устраивать пикники в лесу; Муриэль будет нам декламировать, она знает уже шесть стихотворений, а остальные дети живо нагонят ее.

Джордж, в сущности, почти не способен к сопротивлению. Он сразу переменял тон, и даже не изящно: он отвечал, что если у нас хватит низости устроить такую штуку, то, конечно, он ничего не сможет сделать. К этому он прибавил, что если я не намерен выпить все красное вино сам, то и он попросил бы стаканчик.

Таким образом первый пункт выяснился. Осталось только решить окончательно – каким образом мы можем развлекаться.

Гаррис, по обыкновению, стоял за море: ему была известна какая-то яхта, с которой мы могли бы отлично управиться сами без лентяев-матросов, сводящих на нет всю романтику плавания; но оказалось, что и мы с Джорджем знаем эту яхту. Она вся пропитана запахом трюмной воды, которого не может развеять и самый свежий морской ветер; негде спрятаться от дождя, кают-компания длиною в десять футов, а шириной в четыре, и половина ее занята разваливающейся печкой; утреннюю ванну приходится брать на палубе и потом ловить полотенце, которое подхватило ветром. Гаррис с юнгой взяли бы на себя самую интересную работу с парусами, а мне с Джорджем предоставили бы чистить картофель – уж я это знаю.

Мы отказались.

– Ну, найдем в таком случае хорошую настоящую яхту со шкипером, – предложил Гаррис, – и будем путешествовать как аристократы.

Этому я тоже воспротивился. Уж я-то знаю, что значит иметь дело со шкипером! Его любимое занятие – стоять на якоре против излюбленного портового кабака и ждать попутного ветра.

Много лет назад, когда я был еще молод и неопытен, мне довелось узнать, чего стоит «плавание» на наемной яхте со шкипером. Три обстоятельства вовлекли меня в эту глупость: во-первых, я по случаю хорошо заработал; во-вторых, Этельберте ужасно захотелось подышать морским воздухом, и в третьих, мне попалось на глаза заманчивое объявление в газете «Спортсмен»: «Любитель морского спорта. – Редкий случай! „Головорез“, 28-тонный ял. Владелец судна из-за внезапного отъезда согласен отдать свою „борзую моря“ внаем на какой угодно срок. Две каюты и кают-компания; пианино Воффенкопфа; вся медь на судне новая. Условия: 10 гиней в неделю. Обращаться к Пертви и К°, Бокльсберри».

Это объявление волшебным образом обращало въявь мои тайные мечты. «Новая медь» меня не интересовала: нас устроила бы и старая, даже без чистки, но «пианино Воффенкопфа» ме-

ня покорило!.. Я представил себе Этельберту, наигрывающую в вечерний час мелодичную песню с припевом, который стройно подхватят голоса команды... А наша «борзая моря» несется легкими скачками по серебристым волнам...

Я взял кеб и немедленно разыскал третий номер по Бокльсберри. Мистер Пертви оказался ничуть не гордым джентльменом; я нашел его в конторе довольно скромного вида в третьем этаже. Он продемонстрировал мне изображающую яхту акварель: «Головорез» шел крутым галсом, палуба была наклонена к воде почти под прямым углом; на ней не было ни души – все, очевидно, сползли в море. Я обратил внимание хозяина яхты на такое неудобство положения судна, при котором пассажирам, только и оставалось, что прибавать себя к палубе гвоздями; но он отвечал, что «Головорез» изображен в ту минуту, когда он «огибал» какое-то опасное место на гонках, на которых взял приз. Об этом мистер Пертви поведал таким тоном, словно это событие известно всему миру; поэтому мне не захотелось расспрашивать о подробностях. Два черных пятнышка на полотне возле рамы, которые я принял сначала за мошек, оказались яхтами, пришедшими вслед за «Головорезом» в день знаменитой гонки. Фотографический снимок того же судна, стоящего на якоре в Гревсенде, производил меньшее впечатление, но так как все ответы на мои вопросы удовлетворили меня, то я сказал, что нанимаю яхту на две недели. Мистер Пертви нашел такой срок очень подходящим: если бы я захотел заключить договор на три недели, то ему пришлось бы мне отказать, но двухнедельный срок замечательно удачно совпадал со временем, которое было уже обещано после меня другому любителю спорта.

Затем мистер Пертви осведомился, есть ли у меня на примете хороший шкипер, и когда я сказал, что нет, то это тоже оказалось замечательно удачным (судьбе, видимо, захотелось побаловать меня): у мистера Пертви еще не был отпущен прежний шкипер яхты, мистер Гойльс, – шкипер, который еще никого не утопил и знает море как свои пять пальцев.

«Головорез» стоял в Гарвиче, и, пользуясь свободным утром, я решил съездить и осмотреть его сейчас же. Я еще успел к поезду в 10 ч. 45 м. и около часу был на месте.

Мистер Гойльс встретил меня на палубе. Это был добродушный толстяк весьма почтенного вида. Я объяснил ему мое намерение обогнуть Голландские острова и затем подняться к северу к берегам Норвегии.

– Вот-вот, сэр! – отвечал толстяк с видимым одобрением и даже восторгом.

Он увлекся еще больше, когда начали обсуждать вопрос о съестных припасах и потребовал такое количество провианта, что я был поражен: если бы мы жили во времена адмирала Дрейка или испанского владычества на морях, я подумал бы, что мистер Гойльс собирается в дальний и, пожалуй, пиратский рейд.

Однако он добродушно засмеялся и уверил меня, что ничего лишнего мы не возьмем: если что-нибудь останется, то матросы поделятся и возьмут с собой по домам. Так уж повелось на этой яхте. Когда количество съестных припасов было определено и очередь дошла до крепких напитков, то я понял, что мне их придется заготовить на целую зиму, но смолчал, чтобы не показаться скупым. Только когда мистер Гойльс с большой заботливостью осведомился, сколько бутылок будет взято собственно для матросов, то я скромно заметил, что не намеревался устраивать никаких оргий.

– Оргий! – Повторил мистер Гойльс. – Да они выпьют эти жалкие капли с чаем. Надо нанимать толковых людей и обращаться с ними хорошо, тогда они будут отлично работать и являться по первому вашему зову.

Я не чувствовал желания, чтобы они являлись по первому моему зову; у меня в сердце зародилась антипатия к этим матросам, прежде чем я их увидел. Но мистер Гойльс был очень напорист, а я очень неопытен и подчинился ему во всем. Он обещал, что «не будет шляпой и справится со всем сам, с помощью всего лишь двух матросов и одного юнги». Не знаю, к чему последнее относилось – к провианту или к управлению яхтой.

По дороге домой я зашел к портному и заказал себе подходящий костюм с белой шляпой; портной обещал поспешить и приготовить его вовремя. Когда я, вернувшись, рассказал все Этельберте, она пришла в восторг и тревожилась только об одном – успеет ли сшить платье себе. Это было так по-женски!

Наш медовый месяц кончился совсем недавно – и кончился, благодаря случайным обстоятельствам, раньше, чем мы этого желали; поэтому теперь нам захотелось вознаградить себя, и

мы решили не приглашать с собой ни души знакомых. И слава Богу, что так решили. В понедельник костюмы были готовы, и мы отправились в Гарвич. Не помню, какой костюм приготовила себе Этельберта; мой был весь обшит узенькими белыми тесемочками и выглядел очень экстравагантно.

Мистер Гойльс радушно встретил нас на палубе и сообщил, что завтрак готов. Надо отдать ему должное: поварские способности у него были отменные. О способностях остального экипажа мне судить не пришлось, одно могу сказать – ребята были не промах.

Я думал, что как только команда отобедает, мы подыдем якорь и выйдем в море. Я закурю сигару и вместе с Этельбертой буду следить, облокотившись на поручень, за мягко тающими на горизонте белыми скалами родного берега. Мы исполнили свою часть программы, но на совершенно пустой палубе.

– Они, кажется, не спешат отобедать, заметила Этельберта.

– Если они в две недели собираются съесть хотя бы половину запасов, то нам их нельзя तो-ропить; не успеют, – отвечал я.

Прошло еще какое-то время.

– Они, вероятно, все заснули! – заметила опять Этельберта. – Ведь скоро пять часов, пора чай пить.

Тишина действительно стояла полная. Я подошел к трапу и окликнул мистера Гойльса. Мне пришлось кликнуть три раза, и только тогда он явился на зов. Почему-то он казался более старым и рыхлым, чем прежде; во рту у него была потухшая сигара.

– Когда вы будете готовы, капитан, мы тронемся, – сказал я.

– Сегодня мы не тронемся, с вашего позволения, сэр.

– А что такое сегодня? Плохой день?

Моряки – народ суеверный, и я подумал, что нынешний денек мистеру Гойльсу чем-нибудь не понравился.

– Нет, день ничего, только ветер, кажется, не хочет меняться.

– А разве ему нужно меняться? Как будто он дует прямо в море.

– Вот-вот, сэр! Именно: он бы и нас отправил прямо в море, если бы мы снялись с якоря. Видите ли, сэр, – прибавил он в ответ на мой удивленный взгляд, – это ветер береговой.

Ветер был действительно береговой.

– Может быть, за ночь переменится! – И, ободрительно кивнув головой, мистер Гойльс разжег потухшую сигару. – Тогда тронемся: «Головорез» – хорошее судно.

Я вернулся к Этельберте и рассказал о причине задержки. Она была уже не в том милом настроении, как утром, и пожелала узнать, почему нельзя поднять паруса при береговом ветре.

– Если бы ветер был с моря, то нас выбросило бы обратно на берег, – заметила она. – Кажется, теперь самый подходящий ветер.

– Да, тебе так кажется, дорогая моя, но береговой ветер всегда очень опасен.

Этельберта пожелала узнать, почему береговой ветер всегда очень опасен. Ее настойчивость огорчила меня.

– Я этого не сумею объяснить, но идти в море при таком ветре было бы ужасным риском, а я тебя слишком люблю, моя радость, чтобы рисковать твоей или своей собственной жизнью.

Я думал, что очень мило все объяснил, но Этельберта, посетовав на то, что уехала из Лондона днем раньше, скрылась в каюте.

Мне стало почему-то досадно. Легкое покачивание яхты, стоящей на якоре, может испортить самое блестящее настроение.

Утром я был на ногах чуть свет. Ветер дул прямо с севера. Я сейчас же отыскал шкипера и сообщил ему о своем наблюдении.

– Да, да, сэр. Очень печально, но мы этого изменить не можем.

– Как? Нам и сегодня нельзя тронуться с места!

– Видите ли, сэр, если бы вы хотели идти в Инсвич – хоть сейчас! Сколько угодно! Но наша цель – Голландские острова, вот и приходится сидеть.

Я передал эти новости Этельберте, и мы решили провести весь день в городе. Гарвич – место вообще не веселое, а уж к вечеру и вовсе скучное. Побродив по ресторанам, мы вернулись на набережную. Шкипера на месте не было. Вернулся он через час изрядно навеселе, во всяком

случае он был куда веселее нас: если бы я не слышал от него лично, что он пьет ежедневно только один стакан грогу перед сном, то принял бы его за пьяного. На следующее утро ветер задул с юга. Шкипер встревожился, говоря, что если это будет продолжаться, то нам нельзя ни двигаться, ни стоять на месте. У Этельберты стало возникать чувство острой неприязни к яхте, и она объявила, что предпочла бы провести неделю, принимая морские ванны в безопасной купальне. Два дня прошли в большом беспокойстве. Спали мы на берегу в гостинице. В пятницу ветер зашел с востока. Я встретил шкипера на набережной и сообщил ему радостную весть. Он даже рассердился:

– Что вы, сэр! Если бы вы больше понимали, то видели бы, что ветер дует прямо с моря! Тогда я спросил серьезно:

– Скажите, пожалуйста, что я нанял? Плавучий сарай или яхту? Что это такое?

– Это – ял, – отвечал он, несколько озадаченный.

– Дело в том, – продолжал я, – что если это плавающая дача, то мы купим плюша, побольше цветов и постараемся обустроить жилище поуютнее. Если же эту штуку возможно двинуть с места...

– Двинуть с места! Да нам нужен только попутный ветер.

– А что вы называете попутным ветром?

Шкипер молчал.

– За эту неделю ветер был с запада, с севера, с юга и востока. Если вы мне укажете еще на какуюнибудь часть света, откуда мы должны ждать попутного ветра, то я буду ждать. Но если у вас компас обыкновенный и если наш якорь еще не прирос к морскому дну, то мы его сегодня подыдем!

Он понял, что меня не унять.

– Хорошо, сэр, – ответил он. – Вы хозяин, а я – работник. Теперь у меня остался на попечении только один ребенок, и, в случае чего, ваши душеприказчики, конечно, окажут помощь моей вдове.

Его серьезность поразила меня.

– Мистер Гойльс, – сказал я, – будьте со мной откровенны: бывает ли на свете такая погода, при которой мы могли бы вылезти из этой противной ямы?

– Видите ли, сэр, если бы мы очутились в море, все пошло бы как по маслу; но дело в том, что выйти из гавани на этой скорлупе – дело не шуточное.

Разговор окончился трогательным обещанием шкипера «следить за погодой, как мать за спящим младенцем». В следующий раз я увидел его в полдень: он следил за погодой из окна «Цепи и якоря».

В пять часов того же дня счастье мне слегка улыбнулось: я встретил на улице двух товарищей, которые остановились на время в Гарвиче, так как на их яхте поломался руль. Наша история не удивила; а рассмешила их: мы забежали за Этельбертой в гостиницу и вчетвером прокрались на наше судно. Мистер Гойльс все еще следил за погодой из окна ближайшего кабака. Застав на месте только юнгу, мы были очень довольны; товарищи взяли на себя управление яхтой, и через час мы уже весело неслись вдоль берега. На ночь остановились в Альдборо, а на следующий день добрались до Ярмута. Здесь надо было расстаться с товарищами и закончить «плавание». Все запасы мы распродали на берегу с аукциона; это было не особенно выгодно, но зато капитану Гойльсу ничего не досталось.

Я оставил «Головореза» на попечение местного моряка, который за пару соверенов взялся перегнать его обратно. Мы вернулись в Лондон по железной дороге.

Может быть, и бывают яхты не такие, как «Головорез», и шкиперы не такие, как мистер Гойльс, но уникальный собственный опыт восстановил меня против тех и других.

Джордж тоже нашел, что прогулка на яхте была бы слишком хлопотным удовольствием, и таким образом этот план был отброшен.

– Ну а река? – предложил Харрис. – Ведь мы по ней когда-то славно погуляли!..

Джордж молча затянулся сигарой, я взял щипцы и раздавил еще один орех.

– Не знаю – заметил я. – Темза теперь стала какая-то другая. Сыро на ней, что ли, но только у меня от речного воздуха всегда ломит поясницу.

– Представь себе, я замечаю то же самое, – прибавил Джордж, – когда я последний раз гос-

тил у знакомых возле реки, то ни разу не мог проснуться позже семи часов утра.

– Я не настаиваю, – заметил Гаррис. – Я это так предложил, вообще, а при моей подагре, конечно, на реке мало удовольствия.

– Мне лично приятнее всего было бы подышать горным воздухом, – сказал я. – Что вы скажете относительно пешего похода по Шотландии?

– В Шотландии всегда мокро, – заметил Джордж. – Я там был два года назад и целых три недели не просыхал, – вы понимаете, что я хочу сказать.

– В Швейцарии довольно мило, – заметил Гаррис.

– В Швейцарию нас никогда не отпустят одних, – сказал я, – мы должны выбирать местность, где не смогут жить ни хрупкие женщины, ни дети; где ужасные гостиницы и ужасные дороги; где нам придется не покладая рук бороться с природой, и, может быть, умирать с голода.

– Тише, тише! – прервал Джордж. что я отправляюсь с вами.

– Не забывай, отправимся на...

– Придумал! – воскликнул Гаррис. – велосипедах!

На лице Джорджа отразилось сомнение.

– На велосипедах в горы? – А подъемы? А ветер?

– Так не везде же подъемы, есть и спуски, а ветер не обязательно дует в лицо, иногда и в спину.

– Что-то я этого никогда не замечал, – упорствовал Джордж.

– Положительно, лучше путешествия на велосипедах ничего не выдумаешь!

Я готов был согласиться с Гаррисом.

– И я вам скажу, где именно, – продолжал он, – в Шварцвальде.

– Да ведь это все в гору! – воскликнул Джордж.

– Во-первых, не все, а во-вторых – Гаррис осторожно оглянулся и понизил голос до шепота, – они там проложили на крутых подъемах маленькие железные дороги, такие вагончики на зубчатых колесах.

В эту минуту дверь отворилась и вошла миссис Гаррис. Она объявила, что Этельберта одевает шляпку, а Муриэль, не дождавшись нас, уже прочла описание праздника из «Волшебного царства».

– Соберемся завтра в клубе в четыре часа, – шепнул мне Гаррис, вставая.

Я передал распоряжение Джорджу, подымаясь с ним по лестнице.

ГЛАВА II

Щекотливое дело. – Что должна была сказать Этельберта. – Что она сказала. – Мнение миссис Гаррис. – Наш разговор с Джорджем. – Отъезд назначен на среду. – Джордж указывает на возможность развить наш ум. – Мы, с Гаррисом сомневаемся. – Кто больше работает в тандеме? – Мнение человека, сидящего сзади. – Мнение человека, сидящего спереди. – О том, как Гаррис потерял свою жену. – Здравый смысл моего дяди Поджера. – Начало истории о человеке с мешком.

Я решил атаковать супругу в тот же вечер. План сражения был следующий: я начну раздражаться из-за пустяков, Этельберта это заметит, я должен буду признать ее замечание справедливым и сошлюсь на переутомление; это поведет к разговору о моем здоровье вообще и к решению принять немедленные и действенные меры.

Я полагал, что тактический маневр такого рода вынудит Этельберту обратиться ко мне с речью в таком роде:

«Нет, дорогой мой, тебе нужна перемена, полная перемена обстановки! Будь благоразумным и уезжай на месяц. Нет, не проси меня ехать вместе с тобой: я знаю, это было бы тебе приятно, но я не поеду. Я сознаю, что мужчине иногда необходимо чисто мужское общество. Постарайся уговорить Джорджа и Гарриса ехать с тобой. Поверь мне, что такой ум, как твой, требует отдыха от рутины домашней жизни. Забудь на время, что детям нужны уроки музыки, новые сапоги, велосипеды и приемы ревенного порошка по три раза в день; забудь, что на свете есть кухарки, обойщики, соседские собаки и счета из мясных лавок. Удались в какое-нибудь место, где

ты останешься наедине с природой, где для тебя все будет свежо и ново и где твой истомленный ум воскреснет для новых, светлых мыслей. Уезжай на время: тогда я пойму, как мне пусто без тебя, заново оценю твою доброту и твои достоинства, потому что, как простая смертная, я могу стать равнодушной даже к свету солнца и к красе месяца, видя их постоянно. Уезжай – и возвращайся еще более милым, если это только возможно!»

Но даже в том случае, когда наши желания исполняются, это происходит не совсем так, как мы мечтали. Во-первых, Этельберта даже не заметила моей раздражительности. Пришлось самому указать ей на это. Я сказал:

– Прости меня. Сегодня я себя как-то странно чувствую.

– Разве? Я ничего не заметила. Что с тобой?

– Сам не знаю. В последние недели я чувствую, как на меня наваливается какая-то тяжесть.

– А, это вино! – спокойно заметила Этельберта. – Ты ведь знаешь, что крепкие напитки тебе противопоказаны, а у Гарриса всякий раз пьешь.

– Нет, не вино! Это что-то более серьезное, более духовное, – отвечал я.

– Ну, так ты опять читал рецензии, – заметила она более сочувственно. – Почему ты не слушаешь меня и сразу не бросаешь их в печку?

– И вовсе не рецензии! – отвечал я. – За последнее время мне попались две-три отличные!

– Так в чем же дело? Какая-нибудь причина должна быть.

– Нет никакой причины. В том-то и дело, что я могу назвать это чувство только безотчетным беспокойством, которое охватило все мое существо.

Этельберта поглядела на меня несколько странно, но ничего не сказала. Я продолжал:

– Эта давящая монотонность жизни, эти дни невозмутимого блаженства – они гнетут меня!

– Я бы не стала на это сетовать, – заметила Этельберта. – Могут настать и иные дни, которые будут нам нравиться куда как меньше.

– Не знаю, – отвечал я. – По-моему, при постоянной радости даже боль – приятное разнообразие. Для меня лично вечное блаженство без всякого диссонанса кончилось бы сумасшествием. Вполне признаю, я человек странный; бывают минуты, когда я сам себя не понимаю и ненавижу.

Очень часто монолог в таком роде – с намеками на тайные, глубокие страдания – трогал Этельберту; но в этот вечер она была удивительно хладнокровна; относительно вечного блаженства она заметила, что незачем забегать вперед навстречу горестям, которых, может быть, никогда не будет; по поводу моего признания насчет странности характера она философски посоветовала примириться с подобным фактом, говору, что это не мое дело, если окружающие согласны выносить мое присутствие. А насчет однообразия жизни согласилась вполне:

– Ты не можешь себе представить, как мне хочется иногда уйти даже от тебя! – заметила она. – Но я знаю, что это невозможно, так и не мечтаю.

Никогда прежде не слышал я от Этельберты подобных слов; они меня ужасно огорчили.

– Ну, это не слишком-то любезное замечание со стороны жены! – заметил я.

– Знаю, оттого я раньше и молчала. Вы, мужчины, никогда не поймете того, что как бы женщина ни любила, но бывают минуты, когда даже любимый человек становится ей в тягость. Ты не знаешь, до чего мне иной раз хочется надеть шляпку и уйти – не давая отчета, куда я иду, и зачем иду, и надолго ли, и когда вернусь! Ты не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед, который я и дети ели бы с наслаждением, но от которого ты сбежал бы в клуб! Ты не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь женщину, которую я люблю, хотя ты ее терпеть не можешь; пойти в гости туда, куда мне хочется; лечь спать тогда, когда я устала, и встать тогда, когда мне больше не хочется спать! Но люди, которые живут вдвоем, обязаны постоянно уступать друг другу, и это иногда даже полезно.

Впоследствии, обдумав слова Этельберты, я нашел их вполне справедливыми, но тогда пришел в негодование:

– Если тебе хочется от меня отделаться...

– Ну, не изображай идиота. Если я иногда и хочу от тебя отделаться, так только на время, для того, чтобы забыть о недостатках твоего характера; для того, чтобы вспоминать, какой ты славный в других отношениях, и ждать твоего возвращения домой с таким же нетерпением, как в былые дни, когда твое присутствие еще не вызывало во мне некоторого равнодушия. Я, может

быть, несколько излишне привыкла к тебе, но ведь привыкают же и к солнцу!

Мне не понравился этот тон. Этельберта рассуждала о возможной разлуке с мужем каким-то легкомысленным образом, отнюдь не женственным, не подходящим к случаю и вовсе не симпатичным! Мне стало досадно. Мне уже было расхотелось уезжать и развлекаться. Если бы не Джордж и Гаррис – я сразу отказался бы от нашего плана. Но отказываться было поздно, и я не знал, как выйти сухим из воды.

– Хорошо, Этельберта, – отвечал я. – Сделаем так, как ты хочешь: ты отдохнешь от меня. Но если это не дерзость со стороны мужа, то я хотел бы узнать, как ты воспользуешься временем нашей разлуки?

– Мы найдем дачу в Фолькстоне и поедем туда с Кэт. Если ты согласен доставить Клер Гаррис удовольствие, то уговори Гарриса поехать с тобой, а она присоединится к нам. Нам бывало очень весело вместе – прежде, когда вас, мужчин, еще не было на нашем горизонте, – и мы с удовольствием трянули бы стариной! Как ты думаешь, – продолжала Этельберта, – удастся ли тебе уговорить Гарриса?

Я сказал, что попробую.

– Вот милый! – отвечала Этельберта. – Постарайся! Можете уговорить и Джорджа отправиться с вами.

Я заметил, что от Джорджа мало проку, так как он – холостяк, и некому будет воспользоваться его отсутствием. Но женщины, увы, невосприимчивы к юмору. Этельберта в ответ просто заметила, что не пригласить его было бы невежливо. Я обещал ей сделать это.

Я встретил Гарриса в клубе в четыре часа и спросил, как дела.

– О, отлично, – отвечал он. – Уехать вовсе не трудно. – Но в его тоне слышалось сомнение, и я потребовал объяснений.

– Она была нежна, как голубка, – продолжал он уныло, – и сказала, что Джордж очень своевременно предложил эту поездку, которая принесет много пользы моему здоровью.

– Ну, так что ж тут дурного?

– В этом нет ничего дурного, но она заговорила и о Других вещах.

– А! Понимаю.

– Ты ведь знаешь ее давнюю мечту о ванной комнате?

– Слыхал. Она и Этельберту подговаривала.

– Ну так вот: я обязан был немедленно согласиться на устройство ванной. Не мог, же я отказать, когда она меня так мило отпустила. Это обойдется мне в сто фунтов, если не больше.

– Так много?

– Еще бы! По одной смете шестьдесят.

Мне стало его жаль.

– А затем еще эта плита в кухне, – продолжал Гаррис. – Считается, что все несчастья в доме за последние два года происходили из-за этой плиты.

– Я знаю, с кухонными печами всегда история. У нас на каждой квартире, со времени свадьбы, дело с ними идет все хуже и хуже. А нынешняя наша плита отличается просто редким ехидством: каждый раз, когда приходят гости, она устраивает забастовку.

– Зато у нас теперь будет отличная плита, – без всякого воодушевления в голосе заметил Гаррис. – Клара решила сэкономить на том, чтобы сделать обе работы одновременно. Мне думается, если женщина захочет купить бриллиантовую тиару, то она будет убеждена, что избегает расходов на шляпку.

– А сколько будет стоить плита? – спросил я. Меня этот вопрос заинтересовал.

– Не знаю. Вероятно, еще двадцать фунтов. И затем рояль. Ты мог когда-нибудь отличить звук одного рояля от другого?

– Одни будто бы погромче, – отвечал я, – но к этой разнице легко привыкнуть.

– В нашем рояле, оказывается, совсем плохи дисканты. Кстати, ты понимаешь, что это значит?

– Это, кажется, такие пискливые ноты, – объяснил я. – Многие пьесы ими кончаются.

– Ну так вот: говорят, что на нашем рояле мало дискантов, надо больше! Я должен купить новый рояль, а этот поставить в детскую.

– А еще что? – спросил я.

– Больше, кажется, она ничего не смогла придумать.

– Когда вернешься домой, то увидишь, что уже придумала.

– Что такое?

– Дачу в Фолькстоне.

– Зачем ей дача в Фолькстоне?

– Чтобы провести там лето.

– Нет, она поедет с детьми к своим родным в Уэльс, нас приглашали.

– Может быть, она и поедет в Уэльс, но до Уэльса или после Уэльса она поедет еще в Фолькстон. Может быть, я ошибаюсь – и был бы очень рад за тебя, – но предчувствую, что говорю верно.

– Наша поездка обойдется в кругленькую сумму, – заметил Гаррис.

– Джордж преглупо выдумал.

– Да, не надо нам было его слушаться.

– Он всегда все портит.

– Ужасно глуп.

В эту секунду мы слышали голос Джорджа в прихожей: он спрашивал, нет ли писем.

– Лучше ему ничего не говорить, – предложил я, – уже слишком поздно.

– Конечно. Мне все равно пришлось бы теперь покупать рояль и устраивать ванную.

Джордж вошел очень веселый:

– Ну, как дела? Добились?

В его тоне была какая-то нотка, которая мне не понравилась, и я видел, что Гаррис ее тоже уловил.

– Чего добились? – спросил я.

– Как чего? Возможности выбраться на свободу!

Я почувствовал, что пора объяснить Джорджу положение вещей.

– В семейной жизни, – сказал я, – мужчина предлагает, а женщина подчиняется. Таков ее долг. Все религии этому учат.

Джордж сложил руки на груди и вперил взор в потолок.

– Конечно, мы иногда шутим на эту тему, – продолжал я, – но на деле всегда выходит по-нашему. Мы сказали Этельберте и Кларе, что едем, конечно, они опечалились и хотели ехать с нами; потом просили нас остаться; но мы им объяснили свое желание – вот и все; не о чем было и толковать.

– Простите меня, – отвечал Джордж, – я не понял. Женатые люди рассказывают мне разные вещи, и я всему верю.

– Вот это-то и плохо. Когда хочешь узнать правду, приходи к нам, и мы тебе все расскажем.

Джордж поблагодарил, и мы перешли к делу.

– Когда же мы отправимся? – спросил Джордж.

– По-моему, чем скорее, тем лучше. Гаррис, вероятно, боялся, как бы жена еще чего-нибудь не выдумала. Отъезд мы назначили на среду.

– А какой мы выберем маршрут? – спросил Гаррис.

– Ведь вы, джентльмены, конечно, хотите воспользоваться путешествием и для умственного развития? – заметил Джордж.

– Ну, не много ль будет! Зачем же подавлять других своим интеллектом? – заметил я. – Хотя до некоторой степени, пожалуй, да, если только это не будет стоить больших трудов и издержек.

– Мы все устроим, – отвечал Джордж. – Мой план таков: поедем в Гамбург на пароходе, посмотрим Берлин и Дрезден, а оттуда – через Нюрнберг и Штутгарт – в Шварцвальд.

Гаррис забормотал что-то; оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию: «там, говорят, есть дивные местечки».

Но Джордж не согласился – это было совсем не по дороге, – и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден.

– Конечно, Гаррис и я поедем, по обыкновению, на тандеме, а Джордж?

– Вовсе нет, – строго перебил Гаррис. – Ты с Джорджем на тандеме, а я отдельно.

– Я не отказываюсь от своей доли труда, – перебил я в свою очередь, – но не согласен тащить Джорджа все время. Это надо разделить.

– Хорошо, – согласился Гаррис, – будем меняться, но с непременным условием, чтобы и Джордж работал!

– Чтобы что?.. – переспросил Джордж.

– Чтобы и ты работал! – строго повторил Гаррис, – и в особенности на подъемах.

– Господи помилуй! Неужели ты сам не чувствуешь никакой потребности в физической нагрузке?

Из-за тандема всегда выходят неприятности: человек, сидящий впереди, воображает, что он один жмет на педали и что тот, кто сидит за ним, просто катается; а человек, сидящий сзади, глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Эту проблему решить очень непросто. Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием и справедливость шепчет на ухо: «Чего ради ты его везешь? Ведь это не кеб, и он не седок твой» – то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища: «Что там у тебя? Педаль отвалилась?»

Вскоре после своей женитьбы Гаррис однажды попал в весьма затруднительное положение именно из-за невозможности видеть, что делает человек, сидящий за вами на тандеме. Они с женой путешествовали таким образом по Голландии. Дороги были неровные, и велосипед сильно подбрасывало.

– Сиди крепко! – заметил Гаррис жене, не оборачиваясь.

Миссис Гаррис показалось, что он сказал: «Прыгай»! Почему ей показалось, что он сказал «Прыгай», когда он сказал «Сиди крепко» – это до сих пор не известно. Миссис Гаррис объясняет так:

– Если бы ты сказал: «Сиди крепко» – чего ради я бы прыгнула?

А Гаррис объясняет:

– Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал: «Сиди крепко»?

Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они до сих пор спорят по этому поводу.

Словом, миссис Гаррис прыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, будучи убежден, что жена сидит у него за спиной. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться тем, как лихо он въедет на вершину холма один. Они были еще так молоды в те дни и нередко развлекали друг друга подобным образом. Она ожидала, что, покорив вершину, он спрыгнет с велосипеда, картинно облокотясь о руль примет непринужденную позу, и подождет ее. Но когда юная супруга увидела, что ее муж, домчавшись до гребня холма, перевалил через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала изумление, потом негодование и, наконец, ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он даже ни разу не обернулся. На ее глазах он удалялся с быстротою ветра, пока не исчез в лесу, мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка, и ей пришло в голову, что, обидевшись, он сбежал! У нее не было денег, она не понимала ни слова по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг, глядя на нее с сожалением; она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять, что именно, и отвели ее в деревню. Вскоре там появился полицейский. Тот долго вникал в ее пантомиму и вывел заключение, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы, и за четыре мили обнаружили в одной деревне злополучного мальчишку, ехавшего на старом дамском велосипеде. Его схватили и привезли в телегу, вместе с велосипедом, к миссис Гаррис. Но та выказала полное равнодушие к одному и к другому, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно оупев от удивления.

Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит (как думал – своей жене):

– Я уже давно с такой легкостью не ездил на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха!

Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как быстро можно ехать, если работать изо всей силы. И, пригнувшись к рулю, Гаррис полетел стрелой... Дома и церкви, собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и мгновенно исчезали. Старики глядели

ему вслед, качая головами, а дети встречали и провожали восторженными криками.

Таким образом Гаррис проехал миль пять. Вдруг – как он теперь объясняет – он почувствовал что-то неладное. Молчание его не поразило: ветер свистел в ушах, велосипед тоже производил порядочный лязг, и Гаррис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад руку и встретил пустое пространство. Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он оглянулся: за ним тянулась, окаймленная темным лесом, прямая белая дорога и на ней – ни души... Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через десять минут он был на том месте, где дорога разделялась на четыре ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по которой из них проезжал. В это время появился голландец, сидевший на лошади по-дамски. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал ни удивления, ни сочувствия. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый изложил дело не как несчастный случай, а как курьезную историю. Второй фермер удивился, почему Гаррис так беспокоится; последний выбрал обоих, вскочил на тандем и покатил наудачу по средней дороге. Через некоторое время ему повстречались две девицы под руку с молодым человеком, с которым они кокетничали напропалую. Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Одна из девушек осведомилась, как та выглядит. Гаррис знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет, и описал жену самым общим образом, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило – приметы были недостаточны; эдак всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и потребовать себе чужую жену! Они желали знать, как она была одета, но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие коврижки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше десяти минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась; осталось у него еще смутное представление о поясе; но какого покроя и какого цвета была блуза? Зеленая? голубая? или желтая? С воротником или с бантом? И вообще, была ли это шляпка? Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали Бог знает куда. Девушки хохотали и еще больше раздражали моего друга. Их спутник, которому, видимо, хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены, с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал; все, что он мог сообщить, это название деревни, где они последний раз завтракали; оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным – сомнительно было, во-первых, действительно ли потерянная дама – его жена? Во-вторых, действительно ли он ее потерял? В-третьих, почему он ее потерял?

Кое-как, с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось отвести от себя подозрения. Полиция взялась за дело, и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой повозке, вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис – плохая актриса и не умеет скрывать своих чувств, а в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрыть их...

Решив, кому из нас ехать на тандеме, а кому на велосипеде, мы перешли к вечному вопросу о багаже.

– Обычный список, я думаю! – сказал Джордж, собираясь записывать.

Это я привил им такое мудрое правило, а меня научил давным-давно дядя Поджер.

– Прежде чем начинать укладываться, – всегда говорил он, – составь список.

Это был аккуратнейший человек.

– Бери лист бумаги, – начинал он, – и запиши все, что может понадобиться. Потом просмотри – и зачеркни все, без чего можно обойтись. Вообрази себя в кровати: что на тебе надето? Хорошо, запиши (и прибавь перемену). Ты встаешь. Что ты делаешь прежде всего? Моешься? Чем ты моешься? Мылом? Записывай: мыло. Продолжай, пока не покончишь с умываньем. Потом – одежда. Начинай с ног, что у тебя на ногах? Сапоги, ботинки, носки; записывай. Продолжай, пока не дойдешь до головы. Что еще нужно, кроме одежды? Немножко коньяку – записывай. Запиши все, тогда ничего не забудешь.

Такому плану дядя Поджер всегда следовал сам. Составив список, он тщательно просматривал его, чтобы убедиться, не забыто ли что, а затем просматривал вторично – и вычеркивал все, без чего можно обойтись. А затем терял список.

Джордж сказал, что с собой мы возьмем только самое Необходимое, дня на два, а основной багаж будем пересылать из города в город.

– Мы должны быть осторожны, – заметил я. – Я знал однажды человека, который...

Гаррис посмотрел на часы.

– Мы слушаем про твоего человека на пароходе, – перебил он. – Через полчаса я должен встретиться на вокзале с женой.

– Это не длинная история, я расскажу ее меньше чем в полчаса и...

– Не трать ее даром, – заметил Джордж, – мне говорили, что в Шварцвальде случаются дождливые вечера, так мы там, может быть, будем рады твоей истории. Теперь нам нужно окончить список.

Я вспоминаю, что сколько раз ни пытался рассказать эту историю, так мне ни разу и не удалось. А между тем это была достойная история!

ГЛАВА III

Единственный недостаток Гарриса. – Патентованная велосипедная фара. – Идеальное седло. Механик-любитель. – Его орлиный взор. – Его приемы. – Его веселый характер. – Его непритязательность. – Как от него отделаться. – Джордж в роли пророка. – Джордж в роли исследователя человеческой природы – Джордж предлагает эксперимент. – Его осторожность. – Согласие Гарриса при известных условиях.

В понедельник после обеда ко мне зашел Гаррис; у него в руках был номер газеты «Велосипедист».

– Послушайся доброго совета и оставь эту чепуху, – сказал я.

– Какую чепуху?

– Это «новейшее, патентованное, всепобеждающее изобретение, переворот в мире спорта» и т. д. – словом, величайшую глупость, объявление, которое тебя, конечно, прельстило.

– Послушай, ведь нам придется преодолевать крутые склоны, – возразил Гаррис, – и я полагаю, что хороший тормоз нам необходим.

– Тормоз необходим, это верно, – заметил я. – Но всяких модных механических штучек, которые будут выкидывать неизвестно какие номера, нам вовсе не нужно.

– Это приспособление действует автоматически.

– Тем более можешь мне о нем не рассказывать. Я инстинктивно чувствую, что это будет. При подъеме тормоз защемит колесо, как клещи, и нам придется тащить велосипед на плечах. Потом воздух на вершине горы вдруг окажет на него благотворное влияние, и тормоз начнет раскаиваться; за раскаиванием последует благородное решение трудиться и помогать нам – и по дороге с горы гнусное изобретение навлечет только стыд и позор на нашу голову! Говорю тебе, оставь. Ты хороший малый, но у тебя есть один недостаток.

– Какой? – спросил Гаррис, сразу же закипая.

– Ты слишком доверчиво относишься ко всяким объявлениям. Какой бы идиот ни придумал чего-нибудь для велосипедного спорта – ты все испробуешь. До сих пор тебя оберегал ангел-хранитель, но и ему может надоест эта возня. Не выводи его из последнего терпения.

– Если бы каждый думал так, – возразил Гаррис, – то в нашей жизни не было бы никакого прогресса. Если бы никто не испытывал новых изобретений, то мир застыл бы на нулевой отметке. Ведь только...

– Я знаю все, что можно сказать в защиту твоего мнения, – перебил я, – и отчасти соглашюсь с ним, но только отчасти: до тридцати пяти лет можно производить опыты над всякими изобретениями, но после человек обязан остепениться. И ты, и я уже сделали в этом отношении все, что от нас требовалось, в особенности ты – тебя чуть не взорвало патентованной газовой фарой.

– Это была моя собственная ошибка, я ее слишком туго завинтил.

– Совершенно этому верю: ведь по твоей теории, следует опробовать каждую глупость, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Я не видал, что именно ты сделал. Я только помню, как мы мирно ехали, рассуждая о Тридцатилетней войне, когда твоя лампочка вдруг грохнула, и я

очутился в канаве; и еще буду долго помнить лицо твоей жены, когда я ее предупредил, чтобы она не беспокоилась, потому что тебя внесут по лестнице двое людей, а доктор с сестрой милосердия придёт через пять минут.

– Отчего ты тогда не забрал фару? Я хотел бы узнать, отчего она взорвалась.

– Времени не было: ей пришлось бы искать и собирать часа два. А что касается взрыва, то всякий человек, кроме тебя, ожидал бы его – уже по той простой причине, что в объявлении эта фара была названа «безусловно безопасной». А потом, помнишь ту электрическую фару?

– Ну и что? Ты сам говорил, что она отлично светила!

– Да, она отлично светила на главной улице Брайтона, так, что даже испугала одну лошадь; а когда мы выехали в темные предместья, то тебя оштрафовали за езду без огня. Вероятно, ты не забыл, как мы разъезжали с твоей фарой, горящей в яркие солнечные дни, как звезда; а когда наступал вечер, она угасала с достоинством существа, исполнившего свой долг.

– Да, этот фонарь меня немного раздражал, – пробормотал Гаррис.

– И меня тоже. А седла! – продолжал я – мне хотелось пробрать его хорошенько. – Разве есть еще на свете седло, которого бы ты не испробовал?

– Я полагаю, что должны же когда-нибудь изобрести удобные седла!

– Напрасно полагаешь. Может быть, и есть лучший мир, в котором велосипедные седла делаются из радуги и облаков, но в нашем мире гораздо проще приучить себя ко всему твердому и жесткому, чем ожидать прекрасного. Помнишь седло, которое ты купил для своего велосипеда в Бирмингеме? Оно было раздвоено посередине так, что до ужаса походило на пару почек!

– Оно было устроено сообразно с анатомией человеческого тела! – продолжал защищаться Гаррис.

– Весьма вероятно. На крышке ящика, в котором ты его купил, изображен был сидящий скелет, или, точнее, часть сидящего скелета.

– Что ж, этот рисунок показывал правильное положение те...

– Лучше не входить в подробности, – перебил я, – этот рисунок всегда казался мне бестактным.

– Он был совершенно правилен!

– Может быть, но только для скелета. А для человека, у которого на костях мясо – это одно мучение. Ведь я его пробовал, и на каждом камушке оно щипалось так, словно я ехал не на велосипеде, а на омаре. А ты на нем катался целый месяц!

– Надо же было исследовать серьезно!

– Ты жену измучил, пока испытывал это седло: она мне жаловалась, что никогда ты не был более несносен, чем в тот месяц. – Помню еще седло с пружиной, на которой ты подпрыгивал, как...

– Не с пружиной, а «седло-спираль»!

– Хотя бы и так, но во всяком случае для джентльмена тридцати пяти лет прыгать над седлом, стараясь попасть на него, – занятие вовсе не подходящее.

– Приспичили тебе мои тридцать четыре.

– Сколько?

– Мои тридцать пять лет! Ну как хочешь: если вам с Джорджем не нужно тормоза, то не обвиняйте меня, когда на каком-нибудь спуске перелетите через крышу ближайшей церкви.

– За Джорджа я не отвечаю: он иногда раздражается из-за сущих пустяков. Но я постараюсь тебя выгородить, если случится такая штука.

– Ну а как тандем?

– Здоров.

– Ты его не перебирал?

– Нет, не перебирал и никому не позволю даже прикоснуться к нему до самого отъезда.

Я знаю, что значит разбирать и перебирать машины. В Фолькстоне на набережной я познакомился с одним велосипедистом, и мы с ним однажды условились отправиться кататься на следующий день с самого утра. Я встал, против обыкновения, рано – по крайней мере раньше чем всегда – и, сделав такое усилие, остался очень доволен собой; благодаря хорошему настроению, меня не рассердило то, что знакомый заставил себя ждать полчаса. Утро было прелестное, и я блаженствовал в саду, когда он пришел.

– А у вас, кажется, хороший велосипед, – сказал он. – Легко ходит?

– Да, как все они – с утра легко, а после завтрака немного тяжелее.

Он неожиданно схватил мой велосипед за переднее колесо и сильно встряхнул его.

– Оставьте, пожалуйста, так можно испортить велосипед, – сказал я. Мне стало неприятно – если бы велосипед и заслуживал взбучки, то скорее от меня, чем от него: это все равно, как если бы чужой человек принялся ни за что ни про что бить мою собаку.

– Переднее колесо болтается, – объявил он.

– Нисколько не болтается, если его не болтать.

– Это опасно, – продолжал он. – У вас найдется ключ?

Поддаваться не следовало, но мне пришло в голову, что он, может быть, действительно смыслит в этом деле. Я отправился в сарай за инструментами, а когда вернулся, он уже сидел на земле с колесом между коленями, играя им как брелком, а остальные части велосипеда валялись тут же, на дорожке.

– С вашим велосипедом случилось что-то неладное, – сказал он.

– Похоже на то! – заметил я, но он не понял насмешки.

– Ступица подозрительна!

– Вы не тревожьтесь, пожалуйста. Лучше поставим колесо на место и отправимся.

– Да уж теперь все равно: надо воспользоваться случаем и разобрать его.

Он говорил таким тоном, словно колесо вывалилось само собой. В одну минуту он что-то отвинтил – и на дорожку посыпались маленькие стальные шарики.

– Ловите, ловите их! – закричал он взволнованным голосом. – Не дай Бог, если мы их потеряем!

Полчаса мы ползали по дорожке, отыскивая шарики. Мой знакомый повторял с ожесточением, что потерять хоть один шарик – значит испортить велосипед, и объяснял, что, разбирая его, необходимо предварительно определить количество шариков. Я обещал последовать разумному совету, если мне придется когда-нибудь разбирать велосипед.

Всего шариков нашлось шестнадцать; я положил их в свою шляпу и поставил ее на ступеньку крыльца. Это было не особенно умно, но чужая глупость заразительна.

Не успел я оглянуться, как он великодушно выразил желание осмотреть заодно и цепь и немедленно принялся снимать с нее кожух. Я хотел было остановить его, процитировав замечание одного опытного спортсмена: «Лучше купить новый велосипед, чем самому снимать кожух с цепи». Но он отвечал с убеждением:

– Так говорят только профаны. На самом деле нет ничего легче.

И действительно, через три минуты футляр лежал на дорожке, а Эбсон усердно искал винтики, которые куда-то исчезли. (К счастью, я не встречал этого господина с тех пор, но, кажется, его звали Эбсон).

– Удивительно! Ничто так таинственно не исчезает, как винты! – повторял он.

В эту минуту в дверях показалась Этельберта и очень удивилась, видя, что мы еще не тронулись с места.

– Теперь уже скоро! – отвечал он. – Я только разобрал велосипед вашего мужа, чтобы осмотреть, все ли в порядке. За этими машинами необходимо следить, даже за самыми лучшими.

– Когда вы кончите и захотите умыться, можете пройти в кухню, – заметила Этельберта и прибавила, что она с Кэт отправляется покататься под парусом, но к завтраку непременно вернется.

Я готов был отдать золотой, чтобы только отправиться вместе с нею, – глупец, ломавший на моих глазах велосипед, уже вымотал из меня всю душу. Здравый смысл подсказывал мне, что я имею полное право взять его за шиворот и вытолкать из моего сада; но я, будучи слабым человеком в отношениях с другими людьми, продолжал молча смотреть, как калечат мою собственность.

Он перестал отыскивать винты, говоря, что они всегда находятся в ту минуту, когда ждешь этого меньше всего, и принялся за цепь. Сначала он натянул ее как струну, а потом отпустил вдвое слабее, чем она была сначала. После этого он решил вставить переднее колесо.

В продолжение десяти минут я держал велосипед, а он старался поставить колесо. После этого я предложил поменяться местами. Поменялись. Через минуту он вдруг почувствовал необ-

ходимость пройти по дорожке, прогуливаясь, – он объяснял, что пальцы надо очень беречь, чтобы не прищемить их. Наконец колесо попало на место. В ту же секунду он разразился хохотом.

– Что случилось? – спрашиваю.

– Я осел! – говорит, а сам заливается. Тут я почувствовал к нему уважение и поинтересовался, каким образом он пришел к этому открытию.

– Да ведь мы забыли шарики! – отвечал он. Я оглянулся. Моя шляпа лежала на земле, а любимый молодой пес Этельберты поспешно глотал стальные шарики один за другим.

– Он умрет! – воскликнул Эбсон.

– Нет, ничего, – отвечал я. – На этой неделе он уже съел шнурок от ботинок и пачку иголок. Щенков природа иногда толкает на подобные поступки. Но меня очень беспокоит велосипед.

У Эбсона был счастливый характер.

– Что ж, соберем все, что осталось, и вложим на место! – Весело сказал он. – А затем положимся на судьбу.

Нашлось одиннадцать шариков. Через полчаса пять из них были вставлены с одной стороны и шесть с другой. Колесо болталось так, что это заметил бы каждый ребенок. Эбсон казался уставшим и, вероятно, с удовольствием отправился бы домой, но теперь я решил не отпускать его. Моя гордость – велосипед – был разбит; о катанье нечего было и думать; мне лишь хотелось чем-нибудь отплатить Эбсону. Поддержав его упавшее настроение стаканом эля, я сказал:

– Смотреть на вашу ловкость – просто наслаждение! Слабым людям полезно видеть в других столько энергии, столько уверенности в себе!

Ободренный таким образом, он принялся надевать крышку на цепь. Сначала он работал с одной стороны, прислонив велосипед к стене дома; потом с другой стороны, прислонив его к дереву; потом я должен был держать велосипед посреди дорожки, а он лежал на спине, головой между колес, и работал снизу, орошая себя машинным маслом; потом он заметил, что я ему только мешаю, перегнулся через велосипед поперек, изобразив вьючное седло, – и рухнул на голову. Три раза он восклицал: «Ну, теперь готово!», но затем прибавлял: «Нет! Хоть повесьте, а все еще не готово!» В последний раз он прибавил еще несколько слов, но они, к сожалению, непечатны.

После этого он окончательно расвирепел и набросился на мой многострадальный велосипед, как на живого врага; но тот не позволил оскорблять себя безнаказанно. В бойкой драке положение сторон поминутно менялось: то велосипед лежал на дорожке, а Эбсон на нем – то Эбсон на дорожке, а велосипед на нем; если человеку и удавалось наскочить на врага и с победоносным видом сжать его коленями – то ненадолго: в следующее мгновение враг быстро поворачивался и наносил рулем ловкий удар прямо в голову человеку.

Было три четверти первого, когда Эбсон поднялся с земли, всклокоченный, грязный и ищарапанный и, вытирая вспотевший лоб, проговорил:

– Ну, довольно!

Я отвел его в кухню, где он привел себя в порядок, насколько это было возможно без помощи соды и перевязочных материалов.

Отправив его домой, я взвалил велосипед на извозчика и повез его к мастеру. Тот посмотрел и спросил, чего я от него хочу.

– Я хочу, чтобы вы его отремонтировали, если это возможно.

– Нелегкое дело. Но я попробую!

Эта «проба» обошлась мне два фунта и десять шиллингов, но не привела ни к чему: в конце лета я предложил одному магазину продать мой велосипед хотя бы по бросовой цене. Не желая обманывать публику, я просил предупредить, что велосипед был в употреблении целый год.

– Лучше не обозначать, сколько именно времени он был в употреблении, – снисходительно отвечал на это комиссионер. – Между нами говоря, на этом мы ничего не выгадаем. Не будем говорить ничего ни про год, ни про десять лет службы, а возьмем за него сколько дадут.

Я не настаивал и предоставил все дело ему; наконец кто-то дал пять фунтов, и в магазине мне сказали, что это даже очень много.

Да. Хотя я лично больше люблю ездить на велосипеде, чем разбирать его, но разборка есть

тоже своего рода спорт и даже не лишенный некоторых преимуществ: для этого не нужно ни хорошей погоды, ни гладких дорог, ветер не мешает, и все что требуется, – это молоток, отвертка, тряпки и бутылочка машинного масла... Положим, вид делается подозрительный и у велосипеда, и у мастера, но ведь нет радости без помехи. Если велосипедист похож на паяльщика, то это еще не большая беда, так как дальше первого верстового столба он все равно не уедет. Обоими видами спорта одновременно овладеть невозможно: надо быть или механиком, или велосипедистом.

Если что-нибудь случается с моим велосипедом, когда я катаюсь за городом, я сажусь на обочине и жду, пока проедет телега. При этом опасность является только со стороны проезжающих любителей «разборки»: увидя лежащий на боку чужой велосипед, они соскакивают на всем ходу и бросаются к нему с дружелюбно-восторженным кличем. Прежде я пробовал отклонять любезность следующими словами:

– Ничего, ничего! Пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня. Поезжайте дальше, прошу вас.

Но теперь я научен горьким опытом и всегда говорю:

– Оставьте меня в покое, или я разmozжу вам голову!

Только такими словами и отчаянным видом еще можно отвести беду. Джордж пришел перед вечером узнать, все ли будет готово к среде.

– Все, – отвечал я, – кроме, может быть, тебя и Гарриса.

– А что твой тандем?

– Здоров.

– Не надо ли его разобрать?

– Возраст и опыт научили меня, что в жизни почти нет места стопроцентной уверенности, но в данном случае ты задаешь вопрос, на который я отвечу с непоколебимой убежденностью: нет, мой тандем не требует ни чистки, ни разборки, и если я доживу до среды, то никто в мире к нему не притронется.

– Что это ты заговорил высоким стилем? Я бы на твоём месте не раздражался понапрасну. Ведь придет день, когда между тобой и ближайшей велосипедной мастерской очутится один из холмов Шварцвальда, и тогда ты будешь кричать и ворчать на всех, требуя, чтобы тебе подавали отвертку, масло, молоток и держали велосипед. Я раскаялся:

– Прости меня. Сегодня ко мне заходил Гаррис.

– А! В таком случае я понимаю, не объясняй. И кроме того, я пришел поговорить о другом.

С этими словами Джордж подал мне маленькую книжечку в красном переплете. Это был «Путеводитель по Англии» для немецких путешественников. В нем заключались разные вопросы и ответы, необходимые, по мнению автора, в разговоре. Первая глава была «На пароходе», последняя – «У доктора»; самая длинная была посвящена разговорам на железной дороге, причем, вероятно, предполагалось, что общество в вагоне будет состоять из идиотов и невежд. «Можете вы от меня отодвинуться, сэр?» – «Невозможно, сударыня, мой сосед слишком толст». – «Не попробуем ли мы расположить наши ноги?» – «Пожалуйста, опустите локти вниз». – «Не стесняйтесь, сударыня, если мое плечо вам мешает», – «Я требую, чтобы вы отодвинулись, так как я едва дышу». Вероятно, считается, что к этому времени все уже должны передрались и лежать на полу, тем более что заключительная фраза выражает искреннюю благодарность судьбе: «Благодарение Богу! (Gott sei dank!) Наконец-то мы приехали!»

В конце книжки помещался ряд полезных советов немецким путешественникам: беречь здоровье, путешествовать с дезинфицирующим порошком, запираться на ночь спальню на ключ и тщательно проверять сдачу мелкой монетой.

– Не блестящее издание, – заметил я, возвращая книжку Джорджу, – я бы не посоветовал ни одному немцу пользоваться им в Англии: его бы осмеяли. Но представь себе, что я видел лондонские издания для путешественников-англичан – совершенно такие же глупые! Это какой-нибудь ученый идиот, знающий наполовину семь языков, пишет подобные книжки и вводит в заблуждение порядочных людей.

– Но ты не можешь отрицать, что эти издания в большом спросе, – заметил Джордж. – Они ведь продаются тысячами, и в каждом европейском городе есть люди, которые болтают всякий вздор из этих «Путеводителей».

– Может быть, – отвечал я, – но, к счастью, их никто не понимает. Я сам замечал людей, стоящих на углах улиц или на вокзалах с подобными книжками в руках; никто из толпы даже

понятия не имеет, на каком языке говорят эти иностранцы и что они хотят сказать; впрочем, это может быть к лучшему, а то бы их начали, пожалуй, оскорблять.

– Вот мне и пришло в голову испытать, что выходит в таких случаях, когда их понимают? – сказал Джордж. – Я предлагаю в среду утром приехать в Лондон пораньше и отправиться за покупками с разговорником в руках. Мне нужно кое-что приобрести – шляпу или пару спальных туфель, – а пароход выходит из гавани только в полдень. У нас останется больше часа на эксперимент. Я хочу непременно поставить себя в положение иностранца и узнать, как он себя чувствует при таких разговорах.

Предложение мне понравилось – это было похоже на своеобразный вид спорта. Я даже выразил желание сопровождать и ждать Джорджа у дверей каждого магазина. Я прибавил, что и Гаррис, вероятно, присоединится, хотя не к Джорджу, а ко мне.

Но план Джорджа был несколько иной: Гаррис непременно должен сопровождать его при покупках, на всякий случай – у Гарриса внушительный вид, а я обязуюсь стоять в дверях и звать, в случае чего, полисмена.

Мы взяли шляпы, пошли к Гаррису и объяснили ему суть нашей затеи. Он внимательно просмотрел разговорник и заметил:

– Если ты начнешь разговаривать с сапожниками по этой книжке, то от меня проку не будет – все равно ты угодишь прямиком в больницу.

Джордж рассердился.

– Ты говоришь так, словно я глупый мальчишка-забияка! Не стану же я выбирать нелепые фразы; напротив, я хочу провести серьезный опыт и буду говорить только самые вежливые вещи.

При таком условии Гаррис согласился нам сопровождать, и отъезд был окончательно назначен на среду.

ГЛАВА IV

Объяснение, почему в доме Гарриса не нужны будильники. – Общительность юного поколения. – Бдительный страж. – Его таинственность. – Его суетливость. – Занятия до завтрака. – Добрая овца и паршивая овца. – Печальная судьба добродетели. – Новая печь Гарриса. – Как дядя Поджер выходил из дома. – Почтенные деловые люди в роли скороходов. – Мы приезжаем в Лондон. – Мы разговариваем на языке путешественников.

Во вторник вечером приехал Джордж и остался у Гарриса ночевать. Мы предпочли такое решение его собственному плану: он предлагал, чтобы в среду утром мы с Гаррисом заехали за ним по дороге в Лондон; но «заехать» за Джорджем поутру – это значит будить его, трясти, вытаскивать из постели, помогать ему отыскивать различные предметы туалета, участвовать в укладке вещей и после всей этой утомительной траты сил еще сидеть и смотреть, как он завтракает, – пренеприятнейшее занятие для постороннего наблюдателя.

Вот если бы Джордж жил у Гарриса – мне приходится иногда ночевать у него, – тогда другое дело: он был бы готов вовремя. В этом доме вы обыкновенно просыпаетесь среди ночи – может быть, и позже, но вам так кажется – от топота кавалерийского полка, промчавшегося мимо дверей. Ваш ум, потревоженный среди первого сна, рисует одну за другой ужасные картины: нападение разбойников, конец света, взрыв газа. Вы инстинктивно спускаете ноги с кровати и напряженно прислушиваетесь. Ждать приходится недолго: где-то наверху хлопает дверь, и кто-то с быстротой молнии съезжает вниз по лестнице на поднос с посудой. Раздается гулкий удар чего-то круглого о вашу дверь и одновременно с этим солидное замечание: «Вот видишь!»

Вы бросаетесь искать по всей комнате платье, но еще очень темно, ничего не видно, а платье бесследно исчезло с того места, куда было положено с вечера. В ту минуту, когда вы стараетесь засунуть голову под шкаф – в поисках туфель, – кавалерия опять проносится по направлению к верхнему этажу, слышится частый упорный стук в дальнюю дверь, затем настает тишина и чей-то тоненький голос нежно спрашивает.

– Папа, мне можно вставать? Разрешения не слышно, но зато отчетливо доносится другой, более солидный голосок:

– Нет, это только ванночка скатилась. Нет, она не ушиблась ни капельки! Только промокла, да!..

– Хорошо, Мамочка, я им скажу.

– Нет, нет, они не шалили, это случайно!

– Хорошо, спокойной ночи, папа.

Затем тот же голос продолжает авторитетным тоном:

– Вот видишь, нельзя еще вставать. Папа говорит, что слишком рано. Иди и ложись спать.

Вы тоже ложитесь снова и слышите, как кого-то насильно тащат в комнату, находящуюся над вами. Некоторое время вы вслушиваетесь в звуки борьбы; слышится попеременно то треск кровати – причем вздрагивает потолок вашей комнаты, то отчаянная попытка сбежать. Наконец возня затихает и вы засыпаете.

Через некоторое время – как вам кажется, очень скоро – вы снова открываете глаза от инстинктивного ощущения чьего-то присутствия. Уже рассвело, дверь открыта настежь, и вы видите в ней четыре личика, одно над другим, с серьезно устремленными на вас глазами. Торжественный и безмолвный осмотр продолжается некоторое время – словно вы какая-нибудь удивительная редкость, – после чего старший приближается и дружелюбно присаживается на край постели.

– Мы не знали, что вы уже не спите. А я давно проснулся.

– Я так и думал, – отвечаете вы.

– Папа не любит, чтобы мы вставали очень рано, – продолжает мальчуган. – Он говорит, что мы можем помешать другим. Поэтому, конечно, мы не должны вставать.

Это говорится тоном полным глубокого достоинства, вынесенного из сознания исполненного долга.

– А теперь вы еще не встали? – задаете вы вопрос.

– О, нет! мы еще не одеты. – С последним спорить нельзя. Папа по утрам чувствует себя очень усталым, потому что он страшно много работает днем. А вы по утрам тоже чувствуете себя усталым?

Тут он оборачивается и замечает, что трое остальных тоже вошли в комнату и сидят на ковре полукругом. Их позы и лица выражают прежнее любопытство и ожидание какой-нибудь интересной выходки с вашей стороны, словно вы фокусник.

Такое поведение малышей конфузит старшего брата перед гостем, и он повелительно приказывает им выйти из комнаты. Они слишком хорошо воспитаны, чтобы спорить: не произнеся ни единого звука, они вскакивают и моментально бросаются все вместе на него. Вы видите только четыре пары рук и ног, мелькающих во всех направлениях. Ни слова не доносится из этой копошащейся кучи – таков, вероятно, этикет, выработанный любителями раннего вставанья. Если на вас есть какой-нибудь спальный костюм, вы вскакиваете, и возня усиливается вдвое; если же вы любите спать с удобством, то приходится оставаться под одеялом и делать внушения, на которые детвора не обращает ни малейшего внимания. Через некоторое время старший мальчик выпроваживает остальных из комнаты и затворяет за ними дверь; но моментально дверь открывается снова, и в комнату, как шар, влетает Муриэль. У нее длинные волосы, и она зацепляется ими за замок. Она, кажется, сама ненавидит свои локоны, – с таким ожесточением она дергает их, выпутывая из замка. Брат помогает ей и затем принимается ловко орудовать головой сестры как надежным холодным оружием. Новое средство действует, и вы слышите поспешный топот шести убегающих ног. Победитель возвращается на свое место, к вам на кровать. Он несколько не рассержен и уже позабыл о возне.

– Я больше всего люблю утро, – говорит он мечтательно, – а вы?

– Да, иногда... Утро не всегда бывает спокойным.

Мальчик не обращает внимания на каверзность ответа. На его личико находит задумчивое выражение, и он говорит:

– Я бы хотел умереть утром. Утром все так красиво!

– Может быть, и умрешь, если твой отец пригласит когда-нибудь ночевать очень раздражительного человека.

Несколько секунд длится молчание, после чего философское настроение оставляет мальчугана.

– Теперь весело в саду. Может быть, вы хотите встать и поиграть со мной в крикет? – предлагает он. Собственно говоря, ложась спать, вы не собирались подыматься в шесть часов утра и играть в крикет; но это все-таки лучше, чем лежать в постели с открытыми глазами, и вы соглашаетесь.

За завтраком вы спешите объяснить, что вам не хотелось спать, вы рано проснулись, встали и пошли в сад поиграть.

Всякий должен быть предупредителен к гостям, и дети Гарриса, хорошо воспитанные, искренне помогают их развлечь. Миссис Гаррис обыкновенно замечает одно: гость должен быть строже и обязан требовать от детей в следующий раз, чтобы они были одеты как следует. Гаррис же трагически уверяет, что я в одно утро свожу на нет все результаты разумного воспитания.

В день нашего отъезда, в среду, Джордж попросил разбудить его в четверть шестого, обещая показать детям разные Штуки на велосипеде. Но проснулся он в пятом часу.

Тем не менее, надо отдать справедливость детям Гарриса: если вы им толково объясните, что не собираетесь вставать на рассвете и расстреливать привязанную к дереву куклу, а намерены, по обыкновению, встать в восемь, когда принесут чашку чая – то они сначала искренно удивятся, потом извинятся и даже огорчатся. Поэтому, когда Джордж не мог объяснить, что его разбудило – желание встать или же бумеранг домашнего производства, влетевший в окно, – то старший мальчик открыто признал себя виновным и даже прибавил:

– Мы должны были помнить, что дяде Джорджу предстоит утомительный день, и должны были отговорить его от раннего вставанья!..

Впрочем, для Джорджа встать иногда пораньше – дело полезное. В минуту просветления он предложил даже, чтобы в Шварцвальде нас будили в половине пятого; но мы с Гаррисом воспротивились: совершенно достаточно вставать в пять и выезжать в шесть; таким образом можно каждый день делать половину пути до наступления жары и отдыхать после полудня.

В среду я проснулся в пять часов – это было даже раньше, чем нужно. Ложась спать, я приказал сам себе:

«Проснуться ровно в шесть!» Я знаю людей, которые назначают себе срок и просыпаются минута в минуту. Им стоит только проговорить, кладя голову на подушку: «В четыре тридцать», «В четыре сорок пять», «В пять пятнадцать», – и больше не о чем беспокоиться. В сущности, это удивительная вещь; чем больше о ней размышляешь, тем она становится непонятнее. Некое подсознательное «Я» считает время, пока мы спим; ему не нужно ни солнца, ни часов, оно бдит в темноте и в назначенную минуту шепчет: «Пора!»

Еще удивительнее, что один сторож, живший у устья реки, обязан был просыпаться по своей службе за полчаса до высшего уровня прилива, и ни разу в жизни не проспал! Он говорил мне, что прежде, в молодости, он с вечера определял время следующего прилива и внушал себе, когда проснуться; но потом и об этом заботиться перестал: усталый, бросается он на постель и спит глубоким сном до той минуты, когда остается ровно полчаса до высокой воды – то есть каждый день разное! – Витает ли дух этого человека над темными водами, пока он спит без сновидений, или же законы вселенной так же ясно явлены ему, как ясно явлены взору человека цветы и деревья при солнечном свете?..

Кем бы ни был мой подсознательный страж, но он волнуется, суетится и, перестаравшись, будит меня слишком рано. Иной раз я прошу его: «В половине шестого! Пожалуйста!» – но он сбивается со счета и в ужасе будит меня в половине третьего. Я смотрю на часы и с досадой вижу его ошибку. Но он хочет оправдаться: «Может быть, часы остановились?» Я прикладываю их к уху; нет, идут. «Может быть, испортились? – Наверное, теперь половина шестого, если не больше!..» Чтобы успокоить его, я беру свечку и иду вниз, в гостиную, глянуть на большие часы. Ощущения человека, когда он среди ночи бродит по дому в одном халате и мягких туфлях большинству, вероятно, знакомы: все предметы, в особенности с острыми краями, лезут навстречу, хотя днем, когда человек в сапогах и солидном платье, они не обращают на него ни малейшего внимания и не предпринимают попыток неожиданно приблизиться.

Поглядев на большие часы, я возвращаюсь в постель раздраженный и жалею о том, что просил подсознательного стража помочь мне. Но он продолжает суетиться и от четырех до пяти часов будит меня каждые десять минут, после чего наконец утомляется и предоставляет все дело горничной, которая приходит постучать в дверь получасом позже обыкновенного.

Так вот, в среду я встал и оделся в пять часов, лишь бы отделаться от излишней услужливости невидимого стража. Но я не знал, за что приняться.

Все вещи и тандем были уже уложены и отправлены в Лондон накануне; поезд наш отходил только в десять минут девятого. Я спустился в кабинет, думая поработать. Но столь ранним утром, да еще натошак работалось туго. Написав несколько страниц, я перечел их. Иногда о моих трудах отзываются не слишком почтительно; но ничего, достойного выразить убожество этих трех глав, никогда еще сказано не было. Я порвал их, бросил в корзину и начал размышлять: а не существует ли такое благотворительное учреждение, которое бы оказывало помощь исписавшимся авторам?.. Размышления были печальные. Я сунул в карман мяч и отправился на лужайку, где у нас играют в гольф. Там лениво паслось несколько овец, и моя игра их, казалось, заинтересовала. Одна славная овечка отнеслась ко мне с особой симпатией; она, очевидно, не понимала игры, но ее привело в умиление такое раннее появление человека на лугу. Как бы я ни кинул мяч, она блеяла с явным восторгом:

– Пре-ле-е-стно! Ве-ли-ко-ле-е-п-но!

Между тем как другая – противное, нахальное создание – все время блеяла мне под руку, лишь бы только помешать:

– Скве-е-е-рно! совсе-м скве-е-рно!..

И вдруг мой мяч со всего размаху попал в нос симпатичной овце... Она, бедная, понурила голову, а ее соперница сразу переменяла тон и, засмеявшись самым дерзким, вульгарным смехом, злорадно заблеяла:

– Пре-ле-стно! Ве-ли-ко-ле-е-п-но!

Так в нашем мире всегда страдают добрые и хорошие. Я бы охотно дал полкроны, чтобы попасть в нос не милой, а противной овце.

Я пробыл на лугу дольше, чем намеревался, и когда Этельберта пришла сказать, что уже половина восьмого и завтрак на столе, я оказался еще не выбритым. Этельберте ужасно не нравится, когда я бреюсь впопыхах: она находит, что после этого я имею каждый раз такой вид, будто пытался зарезаться, и поэтому все знакомые могут подумать, что мы живем черт знает как! И кроме того, с моим лицом – по ее мнению – не следует обращаться халатно.

Я попрощался с Этельбертой недолго, это могло бы ее расстроить. Но я хотел сказать несколько прощальных слов детям – в особенности насчет моей удочки, которую они обыкновенно употребляют в мое отсутствие в качестве палки, когда при играх требуется обозначить на земле место.

Я не люблю спешить к поезду. До станции оставалось четверть мили, когда я нагнал Джорджа и Гарриса. Пока мы продвигались втроем крупной рысью, Гаррис успел сообщить мне, что он чуть не опоздал из-за новой плиты: ее затопили сегодня в первый раз, кухарку обдало кипятком, а почки взлетели со сковородки на воздух. Он надеялся, что к его возвращению жена успеет укротить новую плиту.

Мы успели на поезд в последнюю секунду. Очутившись в вагоне и с трудом переводя дух, я вспомнил, как дядя Поджер двести пятьдесят раз в году выезжал поездом в 9 ч. 13 м. утра в город. От его дома до станции было восемь минут ходьбы, но он всегда говорил:

– Лучше выйти за пятнадцать минут и идти с удовольствием!

А выходил всегда за пять минут – и спешил изо всех сил. И уж не знаю почему, но через луг, лежащий между городком и станцией, бежал к девятичасовому поезду не один дядя Поджер, а несколько десятков джентльменов – все направлялись в Сити, все солидной наружности, все с черными портфелями и газетой в одной руке и с зонтиком в другой; все они не то чтобы действительно быстро бежали, но отчаянно пыхтели и были чрезвычайно серьезны. Поэтому на их лицах выражалось искреннее негодование при виде разносчиков, нянек и мальчишек, останавливавшихся, чтобы поглазеть на них. Среди этих зевак на несколько минут даже завязывалась азартная, хотя невинная игра:

– Два против одного за старичка в белом жилете!

– Десять против одного за старца с трубкой, если он на бегу не перекувырнется, пока добежит!

– Столько же за Багряного Короля! – прозвище, данное одним юным любителем энтомологии отставному военному, соседу дяди Поджера, который обыкновенно имел очень достойный

вид, но сильно багровел от физических усилий.

Мой дядюшка и остальные джентльмены много раз писали в местную газету, жалуюсь на нерадивость полиции, и редакция помещала от себя горячие передовые статьи об упадке вежливости среди жителей, – но это ни к чему не приводило.

И нельзя сказать, чтобы дядя Поджер вставал слишком поздно; нет, все помехи являлись в последнюю минуту: позавтракав, он немедленно терял газету. Мы всегда знали, когда дядя Поджер что-нибудь терял, по выражению негодования и удивления, которое появлялось на его лице. Ему никогда не приходило в голову сказать:

«Я – рассеянный человек, я все теряю и никогда не помню, куда что положил; я ни за что не найду потерянного без чужой помощи. Я, должно быть, надоел всем ужасно – надо постараться исправиться».

Напротив, по его логике, все в доме были виноваты, если он что-нибудь терял, – кроме него самого.

– Да ведь я держал ее в руке минуту тому назад? – восклицал он.

По его негодующему тону можно было подумать, что он живет среди фокусников, которые прячут вещи нарочно, чтобы позлить его.

– А не оставил ли ты ее в саду? – спрашивала тетя.

– К чему же я оставил бы газету в саду? Мне газета нужна в поезде, а не в саду!

– Не положил ли ты ее в карман?

– Пощади, матушка! Неужели ты думаешь, что я искал бы газету целых пять минут, если бы она была у меня в кармане?.. За дурака ты меня считаешь, что ли?

В эту минуту кто-нибудь подавал ему аккуратно сложенную газету:

– Не эта ли?

Дядя Поджер жадно хватал ее со словами:

– Так и есть, непременно всем нужно брать мои вещи!

Он открывал портфель, чтобы положить в него газету, но вдруг останавливался, онемев от оскорбления.

– Что такое? – спрашивала тетя.

– Старая!.. От третьего дня!.. – произносил он убитым голосом, бросая газету на стол.

Если бы хоть раз попалась под руку вчерашняя газета, то и это было бы разнообразием; но неизменно она была «от третьего дня».

Затем свежую газету находил кто-нибудь из нас, или же оказывалось, что дядя Поджер сидел на ней сам. В последнем случае он улыбался – не радостно, а усталой улыбкой человека, попавшего в среду безнадежных идиотов.

– Эх, вы! Все время газета лежит у вас под самым носом, и никто...

Он не оканчивал фразы, так как очень гордился своей сдержанностью.

После этого тетя вела дядю Поджера в переднюю, где по заведенному правилу происходило прощанье со всеми детьми. Сама тетюшка никогда не отлучалась из дома дальше, чем к соседям, но и то прощалась с каждым членом семьи, «так как не знала, что может случиться в следующую минуту».

По обыкновению, оказывалось, что кого-нибудь из детей не хватает. Тогда остальные шестеро, не медля ни секунды, с гиканьем и криком бросались искать его; но в следующую минуту потерянный появлялся как из-под земли – большею частью с весьма основательным объяснением своего отсутствия – и отправлялся уведомить остальных, что он найден. Все это занимало минут пять, в продолжение которых дядя Поджер успевал найти зонтик и потерять шляпу. Когда все и все были в сборе, часы начинали бить девять. Их торжественный бой обыкновенно производил странное действие на дядю Поджера: он бросался вторично целовать одних и тех же, пропускал других, забывал, кого он уже поцеловал, а кого еще нет – и должен был начинать сначала. Иногда он уверял, что дети нарочно перепутываются (и я, по совести, не берусь защищать их). Огорчался он еще и тем, что у кого-нибудь часто оказывалась совершенно липкая физиономия, причем обладатель этой физиономии бывал особенно нежен.

Если все шло слишком гладко, старший мальчик вдруг объявлял, что все часы в доме отстают на пять минут, из-за чего он опоздал накануне в школу. При этом известии дядя Поджер бросался к калитке, где вспоминал, что с ним нет ни зонтика, ни портфеля. Моментально все де-

ти кидались за забытыми вещами, причем на скорую руку происходила борьба за зонтик и драка за портфель. Когда все было вручено дяде Поджеру и он пускался рысцой по дороге, мы возвращались в дом и находили на столе в передней какую-нибудь вещь, которую он непременно хотел взять с собой в этот день в город.

Было немного позже девяти, когда мы приехали в Лондон на вокзал Ватерлоо и, как решили заранее, сейчас же приступили к опыту, предложенному Джорджем. Открыв «Путеводитель» на странице, озаглавленной «На извозчицкой бирже», мы подошли к одному извозчику, приподняли шляпы и пожелали ему доброго утра.

Но, очевидно, этого парня не смутил бы вежливостью ни один иностранец, даже настоящий. Крикнув соседу. «Эй, Чарльз! поддержи-ка коня!», – он спрыгнул с козел и ответил нам таким изящным поклоном, который сделал бы честь лучшему танцмейстеру. При этом он приветствовал нас от имени всего народа и выразил сожаление, что королевы Виктории нет в данное время в Лондоне.

На такую речь мы не могли ответить ни одним словом: в «Разговорнике» не было решительно ничего подходящего. Мы только вежливо попросили отвезти нас, если возможно, на улицу Вестминстерского моста, причем назвали его кучером.

Он приложил руку к сердцу и отвечал, что сделает это с наслаждением.

Заглянув в «Разговорник», Джордж задал следующий по порядку вопрос:

– Сколько это будет стоить?

Такой грубый переход к материальной стороне дела явно оскорбил лучшие чувства извозчика. Он отвечал, что никогда не берет денег от знатных путешественников и попросит разве что какую-нибудь безделушку на память: бриллиантовую булавку, золотую табакерку или что-нибудь в таком роде.

Эксперимент зашел слишком далеко: вокруг нас начала собираться толпа. Не говоря больше ни слова, мы сели в кэб и отъехали, напутствуемые восторженными криками.

Мы остановили извозчика за народным театром подле сапожной лавки, которая имела подходящий для нашей цели вид: это была одна из тех лавок, которые переполнены товаром так, что он в них даже не помещается; лишь только поутру отворяются ставни, как груды сапог размещаются снаружи, у входа; десятки ящиков с сапожным товаром стоят один на другом у дверей и даже по другую сторону тротуара, сапоги висят гирляндами поперек окон, рыжие и черные башмаки, как виноград, обвивают решетчатые ставни и образуют фестоны над входом. Внутри лавки почти темно и все завалено сапогами.

Когда мы вошли, хозяин с молотком в руке открывал ящик свежего товара.

Джордж снял шляпу и проговорил:

– Доброго утра!

Человек даже не обернулся. Он продолжал усердно возиться с ящиком и промышчал что-то такое, что могло быть и ответом на приветствие, и чем-нибудь совсем другим. Он мне сразу не понравился.

– Мистер N. посоветовал мне обратиться к вам, – продолжал Джордж, заглянув в «Разговорник».

Хозяин лавки, в сущности, должен был ответить так:

«Мистер N. очень почтенный джентльмен, и я очень рад услужить его знакомым». Но вместо этого он проворчал:

– Не знаю. Никогда не слыхал.

Такой ответ уничтожил весь предварительный план разговора. В книжке дано было несколько вариантов разговора с сапожниками, и Джордж выбрал самый вежливый из них: в нем сначала много говорилось о мистере K, и когда между покупателем и лавочником устанавливались хорошие отношения, первый просил дать ему «дешевые и хорошие» ботинки. Но мы попали на грубого материалиста, который не придавал никакой цены тонкой беседе. Имея дело с такими людьми, необходимо приступать прямо к делу. Поэтому Джордж решил оставить мистера N. в покое, перевернул страницу и задал вопрос из другого «разговора с сапожником».

– Мне говорили, что вы держите сапоги для продажи.

Нельзя сказать, чтобы это было удачно: среди сапог, окружавших нас со всех сторон, оно звучало даже дико. Человек положил молоток и впервые удостоил нас своего взгляда.

– А вы думали, я их для чего держу? Чтобы нюхать? – сказал он глухим, хриплым голосом. Это был один из тех людей, которых трудно раскатать, но если уж они разойдутся, то хоть святых выноси.

– А вы думали, я что делаю? – продолжал он. – Собираю их для коллекции? Вы думали, я держу лавку для поправления своего здоровья? По-вашему, я, должно быть, влюблен в сапоги, люблюсь ими, и не могу расстаться ни с одной парой? Вы думали, тут международная выставка сапог? Или историческая коллекция обуви? – Вы слышали когда-нибудь, чтобы человек держал лавку и не продавал сапог? Для красоты они тут, что ли? Вы, верно, думаете, что я получил приз за глупость, а?

Надо отдать справедливость Джорджу, он выбрал самое подходящее для ответа.

– Я приду в другой раз, когда у вас будет больший выбор. А до тех пор – до свидания!

Я всегда говорил, что эти книжки никуда не годятся. В них нет английского выражения, параллельного немецкому «Behalten Sie Ihr Haar auf», а между тем оно могло бы быть иногда полезным.

Мы вышли из лавки и поехали дальше. Сапожник, стоя на изукрашенном сапогами крыльце, провожал нас какими-то замечаниями; мы ничего не слышали, но проходящие, по-видимому, находили их интересными.

Джордж хотел заехать еще к другому сапожнику и повторить опыт, уверяя, что ему действительно нужно купить пару туфель; но мы уговорили его отложить эту покупку до приезда в какой-нибудь иностранный город, где лавочники, без сомнения, более привычны к подобным разговорам и более любезны. Относительно шляпы, однако, Джордж остался непоколебим, утверждая, что без нее он не может путешествовать; поэтому пришлось остановиться у небольшой лавчонки со шляпами и шапками.

Здесь хозяин оказался совсем в другом роде: это был маленький, живой человек с умными глазами; он даже умудрился нам помочь. Когда Джордж спросил его по книжке: «Есть ли у вас шляпы?», он не рассердился, а только остановился на месте и почесал подбородок.

– Шляпы! – повторил он. – Позвольте мне подумать. Да... да! – Тут по его лицу пробежала счастливая улыбка уверенности. – У меня действительно есть шляпы. Только почему вы меня об этом спрашиваете?

Джордж объяснил, что ему нужна дорожная шляпа, причем просил «обратить усиленное внимание на то, чтобы шляпа была хорошая».

Лицо человека сразу потухло.

– А! Вот уж тут я не могу быть вам полезным – если бы вам понадобилась плохенькая, скверная шапчонка, годная разве на то, чтобы вытирать окна, я бы вам предложил самую подходящую; но хороших шляп – нет! Мы их не держим. Впрочем, подождите минутку! – прибавил он, видя недоумение и разочарование на выразительной физиономии Джорджа и открывая один из ящиков. – Тут у меня есть одна шляпа, хотя и не совсем хорошая, но не такая негодная, как весь мой остальной товар. Вот! Что вы о ней скажете? Можете вы удовлетвориться такой шляпой?

Джордж одел ее перед зеркалом и, выбрав подходящую фразу из книжки, сказал:

– Эта шляпа мне достаточно удобна. Но думаете ли вы, что она мне к лицу?

Человечек отступил на несколько шагов и поглядел на Джорджа орлиным оком:

– Говоря откровенно – нет!

Затем он повернулся ко мне и Гаррису и прибавил:

– Красота вашего друга очень тонкая – она есть, но ее можно не заметить. И именно в этой шляпе ее можно не заметить!

Тут Джордж догадался, что пора прекратить эксперимент.

– Все равно, – сказал он, – а то мы опоздаем на поезд. Сколько она стоит?

– Самая большая цена за эту шляпу четыре шиллинга и шесть пенсов; она и того не стоит!

Прикажете завернуть в желтую или белую бумагу?

Джордж отвечал, что возьмет ее как есть, заплатил деньги и вышел из лавки. Мы последовали за ним.

На Фенчер-стрит надо было расплатиться с извозчиком; мы сторговались на пяти шиллингах. Он еще раз отвесил нам изящный поклон и попросил передать привет австрийскому импера-

тору.

Сев в поезд, мы обсудили оба случая и должны были признать, что два раза провалились с позором. Джордж разозлился и выкинул книгу за окошко.

Наш багаж и велосипеды оказались в целости на пароходе, – и ровно в полдень, с приливом, мы поплыли вниз по реке, к морю.

ГЛАВА V

Необходимое отступление от темы. – Поучительная история. – Достоинство этой книжки. – Журнал, который не совсем удался. – Его программа. – Еще одно достоинство этой книжки. – Старая тема. Третье достоинство этой книжки. – «Какой это был лес?» – Описание Шварцвальда.

Рассказывают об одном шотландском парне, который, собираясь жениться на любимой девушке, выказал типичную шотландскую осторожность. После многочисленных наблюдений в своем кругу, он заметил, что большинство браков приводит к плачевным результатам только вследствие ложного представления, которое складывается у жениха или невесты друг о друге. Это представление всегда прекрасно, всегда преувеличенно. И он решил избежать обычного разочарования: не должно быть преувеличенных достоинств – и не будет разбитого идеала. Поэтому, сделав предложение, парень говорил честно:

– Я бедняк, я не могу дать тебе ни денег, ни земли, Дженни.

– Но ты отдаешь мне самого себя!

– Я хотел бы дать тебе что-нибудь, кроме себя. Лицо-то у меня не слишком красивое.

– Нет, нет! Другие парни куда хуже тебя.

– Я не видал таких, милая, и не хотел бы видеть.

– Честный прямой человек, Дэви, на которого можно положиться, лучше, чем беспутный красавец; такой только на девушек заглядывается, да горе в дом приносит.

– Ты на это не рассчитывай, Дженни: бывает, что не из-за самого пестрого петуха на птичьем дворе перья летят!.. Всем известно, как я за каждой юбкой бегал, и тебе со мной нелегко придется.

– Но ты добрый! И ты очень любишь меня, я это знаю.

– Да, люблю, хотя не знаю, долго ли буду любить. И я добрый тогда, когда все делается по-моему. Я не терплю, чтобы мне перечили. У меня дьявольский характер, это тебе и мать моя скажет: я весь в отца, а он и к старости не исправился!

– Ты очень строг к себе. Ты честный человек, Дэви. Я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Ты будешь хорошим мужем, и мы проживем счастливо.

– Может быть, но я сомневаюсь. Тяжкое это дело для жены и ребят, когда человек не может оторваться от бутылки, а мне без выпивки не обойтись, как рыбе без воды! Пью, пью – и не могу напиться.

– Но ты хороший парень, когда в трезвом виде?

– Бывает, если все делается по-моему.

– Однако ты не оставишь меня и будешь для меня работать?

– Вероятно, не оставлю; но о работе ты не толкуй – терпеть не могу и думать-то о ней!

– Во всяком случае, ты будешь стараться?

– Из моего старанья добра не выйдет, я даже – и не думаю, чтобы ты им осталась довольна. Мы все слабые греховодники, а я – самый слабый из всех.

– Ну-ну! Зато ты правдив. Многие парни чего не пообещают бедным девушкам, а потом только губят их! Ты поговорил со мной честно, и я пойду за тебя: посмотрим, что из этого выйдет.

О том, что из этого вышло, история умалчивает, но всякий поймет, что после такого разговора женщина не имела права ни жаловаться, ни упрекать. Может быть, она это все-таки делала вопреки логике – это и с мужчинами случается, – но у мужа оставалось благотворное сознание того, что он предупредил жену обо всем, и, следовательно, никакие упреки им не заслужены.

Я хочу быть таким же честным, как шотландский жених. Я хочу предупредить читателя

обо всех недостатках моей книги. Я не хочу, чтобы за нее принимались с надеждами, которым суждено разбиться. Я не хочу никаких недоразумений. Из моей книжки никто не извлечет никакой пользы.

Если кто-нибудь думает, что, прочтя ее, можно потом отправиться путешествовать по Германии и Шварцвальду, – то это большая ошибка: он заблудится очень скоро, и чем дальше заберется, тем больше наживет себе хлопот. Распространять полезные сведения мне не удастся; это не мое дело. Я прежде думал иначе, но теперь научен опытом.

На заре своей карьеры журналиста я сотрудничал в журнале, который был предшественником многих нынешних популярных изданий. Наша цель, которой мы гордились, заключалась в том, что мы соединяли приятное с полезным. Различать – что именно было приятно, а что полезно – предоставлялось читателям.

Мы писали о том, как надо жениться. Эти статьи заключали длинный ряд разумных, серьезных советов, и если бы наши читатели им следовали, то образовали бы круг непомерно счастливых людей, которым бы завидовали все мужья и жены. Мы объясняли подписчикам, как можно разбогатеть, разводя кроликов; мы доказывали это фактами и вычислениями. Вероятно, наши читатели удивлялись, почему мы сами, в полном составе редакции, не бросим журналистику и не устроим кроличью ферму. Я слышал от многих знающих людей, что стоит завести двенадцать хороших кроликов – и через три года при мало-мальски добросовестном отношении к делу они будут давать две тысячи фунтов стерлингов дохода в год. И этот доход будет постоянно увеличиваться. Может быть, человеку и денег девать некуда, но они будут прибывать сами собой, то есть от этих двенадцати кроликов. Но в то же время я знал нескольких людей, которые заводили самую отборную дюжину, и совершенно напрасно – ни один фермер от этого не разбогател, всегда что-нибудь мешало.

Мы сообщали, сколько лысых людей живет в северных странах (по точным вычислениям), сколько королевских сельдей поместится между Лондоном и Римом, если их укладывать в линию, головой к хвосту, так что всякий желающий положить ряд королевских сельдей от Лондона до Рима мог знать вперед, сколько ему придется купить их. Мы сообщали, сколько слов в среднем произносит в день обыкновенная женщина. Вообще мы давали читателям такой полезный и разумный материал, который мог бы поставить их на голову выше подписчиков всех остальных журналов.

Мы внушали читателям правила этикета: как обращаться к пэрам и архиепископам и как есть суп. Мы обучали молодых людей изящно двигаться и танцевать – посредством точных диаграмм. Мы разрешили все философские проблемы и напечатали для юношества перечень таких высоких нравственных правил, какие сделали бы честь любому проповеднику.

Журнал не пошел только в денежном отношении, и нам пришлось ограничить число сотрудников. Я помню, мой отдел назывался «Советы матерям». Я его вел с помощью квартирной хозяйки, которая развелась с первым мужем и похоронила четверых детей, так что семейный уклад она знала до тонкостей. В моем ведении был еще столбец «Заметки о мебелировке и украшении домов» с рисунками и «Советы начинающим литераторам». Надеюсь, что последние принесли им больше пользы, чем мне самому.

Блезненная, тихая женщина в сером старомодном платье с чернильными пятнами, нанимавшая комнатку в бесконечно длинной улице с унылыми лавчонками, заведовала отделом «Хроника большого света». Последняя вся состояла из тонких намеков того пошиба, который и теперь еще отличает подобные статейки: «На последнем балу в палаццо князя С., – мы не называем имен, – князь говорил мне такие вещи, которые не совсем нравились графине Z, но лучше не входить в подробности!..» Бедная, маленькая женщина: если бы ей провести хоть один вечер в палаццо князя С., то, может быть, румянец вернулся бы на ее поблекшие морщинистые щеки.

«Юмористика» находилась в руках мальчишки-посыльного, которому предоставлялась для этого куча старых газет и пара хороших ножниц.

Вести журнал было нелегко. Денежное вознаграждение равнялось почти нулю. Но вознаграждение нравственное было огромно: журналистика – это игра в школу; мы любим играть в школу в детстве, потом продолжаем ее молодыми людьми, потом стареем и уныло плетемся к гробу, но и при этом все еще увлекаемся игрой в школу. А в этой игре так приятно быть учителем! Так приятно посадить остальных детей в ряд, а самому расхаживать перед ними с указкой!

И журналистика чувствует, что ходит с указкой; поэтому у нее столько приверженцев, несмотря на многие тяжелые стороны этого труда. Государство, правительство, общество, народ, искусство, наука – вот те дети, которые сидят перед нею в ряд, а она их учит.

Я отвлекся, но отвлекся потому, что хотел объяснить, отчего мне больше никого не хочется учить. Вернемся к фактам.

В одном письме в редакцию, подписанном «Воздухоплаватель», требовали сведений о том, как добывать водород. Оказалось, что это очень легко – как я узнал, когда сходил в библиотеку Британского музея. Но для верности я все-таки предупредил «Воздухоплавателя», кто бы он ни был, что следует действовать аккуратно и принять все необходимые меры предосторожности. Что же я мог еще сделать? Тем не менее через десять дней явилась в редакцию какая-то женщина пунцового цвета, она тащила за руку двенадцатилетнего молодца, которого назвала своим сыном. Его физиономия отличалась полным отсутствием какого-либо выражения, бровей у него тоже не было. Мать вытолкнула его вперед и стащила с него шапку. Под шапкой оказалась гладкая поверхность, испещренная серыми точками – вроде крутого очищенного яйца, посыпанного перцем.

– Это был красавец-ребенок еще на прошлой неделе! – заявила женщина пунцового цвета, придавая своему голосу оттенок проступающего негодования, чтобы мы поняли, что это только начало.

– Какое же обстоятельство его так изменило? – спросил редактор.

– Вот какое обстоятельство! – И она бросила ему чуть не в лицо последний выпуск нашего журнала с моим ответом о добывании водорода; параграф был подчеркнут красным карандашом.

Редактор прочел его внимательно и потом спросил, указывая на отрока:

– Это и есть «Воздухоплаватель»?

– Да! Это был «Воздухоплаватель» еще на прошлой неделе! – Это был прекрасный, невинный ребенок! А теперь – посмотрите на его голову!..

Редактор посмотрел. Он был серьезный, тихий человек.

– Может быть, волосы вырастут? – спросил он.

– Может быть, вырастут, а может быть, и не вырастут! – ответила женщина, усиливая негодующие ноты. – Я желаю знать, что вы ему теперь предложите?

Редактор предложил намылить отроку шею, а заодно и голову. Я думал, что женщина бросится на него, но она удержалась, дав полную волю только голосу. Она требовала не купанья, а вознаграждения. Досталось тут, кстати, нашему журналу вообще, его направлению, его самолюбию, его подписчикам.

Терпеливо выслушав горячий монолог женщины, редактор предложил ей пять фунтов стерлингов. Тогда она успокоилась и ушла вместе с поврежденным «Воздухоплавателем». Редактор обернулся ко мне и сказал:

– Не думайте, что я браню вас, –нисколько. Тут вашей вины нет, тут судьба. Но, друг мой, лучше, если вы будете придерживаться исключительно нравственных советов – это ваш стиль, в нем вы, безусловно, талантливы. Но оставьте в покое «полезные сведения»! Я не говорю, что вы их писали неправильно или недобросовестно – нет; но в этой области вам просто не везет, оставьте.

Мне следовало послушаться умного человека. Жаль, что я этого не сделал: и мне, и другим было бы легче.

Мне действительно не везет с полезными советами. Если я составляю для приятеля маршрут от Лондона до Рима, то он непременно потеряет багаж в Швейцарии – если не утонет при переезде через канал. Когда я помогаю другу выбрать при покупке хороший фотографический аппарат, то он потом непременно попадает в руки немецкой полиции за фотографирование крепостей. Однажды я вложил всю душу в дело, объясняя знакомому, как ему поехать в Стокгольм и жениться там на сестре своей покойной жены. Час отъезда парохода, лучшие гостиницы в Стокгольме – все подробности были указаны с величайшей точностью, а между тем он со мной с тех пор не желает разговаривать.

Так вот, вследствие всего этого я решил твердо и бесповоротно: никогда не давать даже малейших практических советов; и если я справлюсь со своей несчастной страстью, то никто не найдет на этих страницах ни толковых сведений, ни описаний городов, ни исторических воспо-

минаний, ни нравоучений.

Я однажды спросил иностранца-путешественника, как ему показался Лондон.

– О, это огромный город, – отвечал он.

– Но что произвело на вас самое сильное впечатление?

– Люди.

– Ну, а сравнительно с Парижем, Римом, Берлином – что вы нашли особенного?

Он пожал плечами.

– Лондон больше. Что же еще можно сказать?

Действительно, все муравейники похожи один на другой. Известное число улиц, широких или узких, в которых суетятся маленькие существа; одни бегут, спешат, другие полны важности, третьи – хитрости; одни согнуты непосильной ношей, другие нежатся на солнце; здесь огромные склады провизии, там тесные каморки, в которых маленькие существа спят, едят и любят; а там – уголки, где складываются мелкие белые кости. Один муравейник больше, другой меньше, вот и все.

Не найдет читатель в этой книге и романтических коллизий. В любом месте, под каждой крышей происходило то, что вы сами можете воспеть в стихах, а я лишь напомним вам суть: жила девушка и жил мужчина; он полюбил ее и уехал.

Эта монотонная песнь звучит на всех языках; очевидно, сей молодой человек обошел весь свет... Его помнят в сентиментальной Германии, в голубых горах Эльзаса, по берегам морей. Он странствует, как Вечный Жид, и девушки продолжают прислушиваться к удаляющемуся топоту его коня.

В опустевших развалинах, где звучали когда-то живые голоса, ютится теперь только эхо минувшего. Прислушайтесь – здесь все то же, знакомое... Напишите песню сами: человеческое сердце – или два, несколько страстей (их ведь немного, не больше чем полдюжины), немножко зла, немного добра; смешайте все это и прибавьте в конце дыхание смерти – и выберите любое из названий: «Пещера невинности», «Колдовская башня», «Могила в темнице», «Гибель любовника» – все годится, потому что содержание одно и то же...

Наконец, в моей книжке не будет описаний природы. Это не от лени с моей стороны, а от воздержания. Нет ничего легче для описания, чем картины природы, и нет ничего труднее и скучнее для чтения. Когда Гиббон принужден был судить о Геллеспонте по описаниям путешественников, и английские студенты имели представление о Рейне главным образом из «Комментариев» Юлия Цезаря, – тогда каждому бродяге действительно надлежало описывать по мере сил всякий виденный клочок земли. Но железные дороги и фотография переменили все. Для того, кто видел дюжину картин, сотню фотографий и тысячу печатных рисунков Ниагары, поэтическое описание водопада крайне утомительно. Один американец – большой любитель поэзии – говорил мне, что альбом шотландских озер, купленный за восемнадцать пенсов, дал ему более ясное представление, чем все тома наших поэтов, вместе взятые; он прибавил еще, что описание съеденного обеда имеет в его глазах столько же достоинств, как описание природы, потому что кушанье можно оценить только языком, как природу – только глазами.

Я с ним согласен, и каждое описание природы в книжках напоминает мне урок в жаркий летний день, когда я сидел в классе вместе с другими мальчуганами.

Это был урок английской литературы. Мы только что закончили чтение длинной поэмы, название и автора которой я, к стыду моему, позабыл. Помню, что поэма не понравилась нам тем, что она была длинна, хотя других недостатков мы в ней не заметили. Когда последние строфы были прочтены и книги закрыты, учитель – ласковый седой джентльмен – пожелал, чтобы мы рассказали поэму своими словами.

– Ну, скажите мне, – обратился он к первому ученику, – о чем тут говорится.

Мальчик опустил голову и отвечал сконфуженным тоном, как о предмете, о котором он никогда не заговорил бы сам:

– О девице, сэр.

– Да, – отвечал учитель, – но я хочу, чтобы ты рассказывал своими словами: ведь мы говорим не «девица», а «девушка». Продолжай.

– О девушке, – повторил первый ученик, еще более смущенный объяснением, – которая жила в лесу.

– В каком лесу?

Мальчик внимательно исследовал свою чернильницу и посмотрел на потолок.

– Ну! – сказал учитель нетерпеливо. – Ведь ты читал описание этого леса целых десять минут и теперь не можешь ничего вспомнить?

– «Сучки дерев, изогнутые ветви» – начал мальчик.

– Нет, нет! Я не хочу, чтобы ты повторял слово в слово! Ну, расскажи по-своему, какой это был лес.

– Обыкновенный лес, сэр.

– Скажи ему, какой это был лес, – обратился учитель к следующему мальчугану.

– Зеленый лес, сэр!

Учителю стало досадно; он назвал второго мальчугана тупицей и вызвал третьего. Этот уже сидел как на горячих углях, весь красный от нетерпения, и размахивал правой рукой, как семафор; он вскочил и ответил бы в следующую секунду, даже если бы его не вызвали.

– Темный и мрачный лес, сэр! – воскликнул он с облегчением.

– Темный и мрачный лес, – повторил учитель с видимым одобрением. – А почему он был темный и мрачный?

Третий мальчик не оплошал:

– Потому что солнце не могло туда проникнуть!

Учитель почувствовал, что попал на поэта.

– Да. Потому что солнце или, вернее, лучи света не могли туда проникнуть. А почему они не могли проникнуть?

– Потому что листья были очень густы, сэр.

– Очень хорошо. Итак, девушка жила в темном и мрачном лесу, сквозь густую листву которого не проникали лучи света. Теперь – дальше! Что росло в этом лесу? – обратился учитель к четвертому мальчику.

– Деревья, сэр.

– А что еще?

– Мухоморы, сэр.

Учитель не был уверен относительно мухоморов, но, справившись с книгой, нашел, что мальчик прав.

– Совершенно верно. Мухоморы росли в этом лесу. Ну а что еще? Что бывает в лесу под деревьями?

– Земля, сэр.

– Нет, нет! Что растет еще, кроме деревьев?

– Кусты, сэр.

– Кусты. Очень хорошо. Теперь мы подвигаемся. Ну а что еще? – И учитель указал на мальчугана в конце класса, который думал, что лес от него еще очень далеко, и занимался по-прежнему игрой в крестики и нолики сам с собой.

Потревоженный и раздосадованный, но чувствуя, что обязан прибавить что-нибудь к лесу со своей стороны, он встал и отвечал наугад:

– Черника, сэр.

Это была ошибка. В поэме не упоминалось о чернике.

– Ну конечно: надо же было что-нибудь человеку есть! – сострил учитель. Раздался смех. Довольный своим остроумием, учитель вызвал мальчика со средней скамейки:

– Что было еще в этом лесу?

– Поток, сэр.

– Совершенно верно. И что он делал?

– Журчал, сэр.

– Нет, нет, это ручей журчит, а поток?

– Ревел, сэр!

– Верно. Поток ревел. А что заставляло его реветь?

Мальчик стал в тупик. Другой – который, правда, не считался у нас блестящим учеником – высказал свое предположение:

– Девушка, сэр!

Тогда учитель изменил форму вопроса:

– Когда поток ревел?

Тут пришел опять на помощь третий мальчик:

– Позвольте ответить! Поток ревел, когда падал со скалы.

Многих это удивило... Промелькнуло представление о том, какой жалкий был этот поток: не стоило реветь всякий раз, когда падаешь со скалы. Но учитель остался доволен ответом.

– Ну а кто жил еще в лесу, кроме девушки?

– Птицы, сэр.

– Да, птицы жили в лесу, а кроме птиц?

Но наше воображение истощилось. Кроме птиц мы ничего не могли придумать.

– Ну же! – старался помочь учитель. – Как называются животные с хвостами, которые бегают по деревьям?

– Кошки, сэр!

Опять ошибка. Поэт не написал ни слова о кошках. Учитель хотел, чтобы мы назвали белок.

Остальных подробностей об этом лесе я так и не запомнил. Кажется, были еще там кусочки голубого неба, а на них тучи, и из этих туч шел иногда на девушку дождь.

Я тогда не понимал и теперь не понимаю, почему описание первых трех учеников было недостаточно. При всем уважении к поэту надо признать, что лес во всяком случае был обыкновенный. И все книжные описания природы кажутся мне столь же излишними, как и перечисления всего, что было в этом лесу.

Я мог бы описать подробно все красоты Шварцвальда, его скалы, его веселые равнины, его хвойные леса по крутым склонам гор, его пенящиеся горные потоки (в тех местах, где аккуратные немцы еще не заключили их в приличные деревянные желоба) и беленькие деревни, и одинокие фермы. Но меня мучит подозрение, что вы пропустите все это. И даже, если не пропустите, если вы более деликатны (или менее слабохарактерны) – то все-таки достаточно немудреных, простых строк из путеводителя:

«Живописная горная местность, окаймленная с юга и с запада долиной Рейна, к которой круто спускаются отроги гор. Почва состоит главным образом из песчаных отложений и гранита. Нижние отроги покрыты обширными хвойными лесами. Местность орошена многочисленными горными потоками, а густо населенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы хороши, но местные вина следует выбирать с осторожностью».

ГЛАВА VI

Как мы, попали в Ганновер. – О том, что делают за границей лучше, чем у нас. – Разоблачение одной тайны. – «Коренной француз» как предмет развлечений. – Отцовские чувства Гарриса. – Искусство поливать улицы. – Патриотизм Джорджа. – Что Гаррис должен был сделать. – Что Гаррис сделал. – Мы спасаем Гаррису жизнь. – Город, в котором не спят. – Извозчичья лошадь с критическими наклонностями.

Мы прибыли в Гамбург в пятницу после тихого и ничем не замечательного морского переезда, а из Гамбурга отправились в Берлин через Ганновер.

Это не совсем прямой путь, но как мы там очутились – я могу объяснить не иначе как негр объяснял судье, каким образом он попал в курятник пастора.

– Да, сэр. Полисмен говорит правду. Я там был, сэр.

– А, так вы это признаете? Как же вы объясните, что вы там делали в двенадцать часов ночи?

– Я только что хотел рассказать, сэр. Я пошел к масса Джордану с дынями, сэр; в мешке были дыни, сэр. И масса Джордан был очень ласков и пригласил меня зайти, сэр.

– Ну?

– Да, сэр. Масса Джордан – очень хороший господин, сэр. И мы сидели и сидели, и говорили и говорили...

– Очень может быть; но я хотел бы знать, что вы делали в пасторском курятнике?

– Я это и хочу рассказать, сэр. Было очень поздно, когда я вышел от массы Джордана; вот я и говорю себе:

«Смелее, Юлиус!.. Потому что будет история с твоей бабой». Она у меня женщина разговорчивая, сэр, и...

– Да, но забудьте о ней, пожалуйста; в этом городе кроме вашей жены есть еще очень разговорчивые люди. Ну-с, как же вы попали к пастору? Его дом за полмили в стороне от пути к вашему.

– Вот это я и хочу объяснить, сэр!

– Очень рад слышать. Но как же вы объясните?

– Вот я об этом и думаю. Я, кажется, заблудился, сэр.

Так и мы «заблудились» немножко.

Ганновер производит первое впечатление вовсе не интересное, но постепенно оно меняется. В нем, собственно, два города: широкие улицы с новейшими постройками и роскошными садами, а рядом средневековые узкие переулки с нависшими над ними фахверковыми постройками. Здесь можно видеть за низкими каменными арками широкие дворы, окруженные галереями, где раздавался когда-то топот породистых коней и теснились запряженные шестерней коляски в ожидании богатого владельца и его нарядной жены; но теперь в этих дворах копошатся только дети и цыплята, а на многочисленных балконах проветривают старую одежду.

В Ганновере чувствуется какая-то английская атмосфера. В особенности по воскресеньям, когда магазины закрыты, а колокола звонят – невольно вспоминаешь ясное лондонское воскресенье.

Если бы это впечатление испытал я один, то приписал бы его фантазии, но даже Джордж поддался такому же чувству: когда мы с Гаррисом вернулись после завтрака с маленькой прогулки, то нашли его сидящим в самом удобном кресле, в курительной комнате: он сладко дремал.

– Хотя я не особенный патриот, но признаю, что в английском воскресенье есть что-то привлекательное! – заметил Гаррис. – И как новое поколение ни восстает против старого обычая, а жаль было бы с ним расстаться.

С этими словами он присел на один край дивана, я на другой – и мы устроились поудобнее, чтобы составить компанию Джорджу.

Говорят, в Ганновере можно выучиться самому лучшему немецкому языку. Но неудобство заключается в том, что за пределами Ганновера никто этого «самого лучшего» немецкого языка не понимает. Остается или говорить хорошо по-немецки и жить всегда в Ганновере, или же говорить плохо и путешествовать. Германия так долго была разделена на отдельные крошечные государства, что образовалось множество диалектов. Немцы из Познани принуждены разговаривать с немцами из Вюртемберга по-французски или по-английски; и молодые англичанки, которые за большие деньги научились немецкому языку в Вестфалии, глубоко огорчают своих родителей, когда не могут понять ни слова из того, что им говорят в Мекленбурге.

Правда, иностранец, свободно говорящий по-английски, тоже затруднится, если ему придется объясняться в Йоркширских деревнях или в беднейших трущобах Лондона, но этого сравнивать нельзя: в Германии каждая провинция выработала особенное наречие, на котором говорят не только простые люди, но которым гордится интеллигенция. В Баварии человек из образованной круга признает, что северное наречие правильное и чище но, тем не менее, будет учить своих детей только родному южному.

В следующем столетии немцы, вероятно, разрешат этот вопрос тем, что все будут говорить по-английски. В настоящее время в Германии почти каждый мальчик и девочка, даже из среднего класса, говорят по-английски; и не будь наше произношение так деспотически своеобразно, нет сомнения, что английский язык стал бы всемирным в течение нескольких лет. Все иностранцы признают его самым легким для теоретического изучения. Немцы, у которых каждое слово в каждой фразе зависит по меньшей мере от четырех различных правил, уверяют, что у англичан грамматики вовсе нет. В сущности, она есть; только ее, к сожалению, признают не все англичане и этим поддерживают мнение иностранцев. Последних еще затрудняет, кроме зубодробительного произношения, наше правописание: оно действительно изобретено, кажется, для того, чтобы осаживать самоуверенность иностранцев, а то они изучали бы английский язык в один год.

Иностранцы изучают языки не по-нашему; оканчивая среднюю школу в возрасте около пятнадцати лет, они могут свободно говорить на чужом языке; а у нас придерживаются правила – узнать как можно меньше, потратив на ученье как можно больше времени и денег. В конце концов, мальчик, окончивший у нас хорошую среднюю школу, может медленно и с трудом разговаривать с французом о его садовниках и тетках (что несколько неестественно для человека, у которого нет ни тех, ни других); в лучшем случае он может с осторожностью делать замечания о погоде и времени, а также называть неправильные глаголы и исключения. Только кому же интересно слушать примеры собственных неправильных глаголов и исключений из уст английского юноши?

Это объясняется тем, что в девяти случаях из десяти французский язык у нас преподают по учебнику, написанному когда-то одним французом в насмешку над нашим обществом. Он комически изобразил, как разговаривают англичане по-французски, и предложил свою рукопись одному из издателей в Лондоне, где тогда жил. Издатель был человек проницательный, он прочел работу до конца и послал за автором.

– Это написано очень остроумно! – сказал он француз. – Я смеялся в некоторых местах до слез.

– Мне очень приятно слышать такой отзыв, – отвечал автор. – Я старался быть правдивым и не доходить до ненужных оскорблений.

– Очень, очень остроумно! – продолжал издатель. – Но печатать такую вещь как сатиру – невозможно.

Лицо француза вытянулось.

– Видите ли, вашего юмора большинство читателей не поймет: его сочтут вычурным и искусственным; поймут только умные люди, но эту часть публики нельзя принимать в расчет. А у меня явилась вот такая мысль! – И издатель оглянулся, чтобы убедиться, одни ли они в комнате; затем наклонился к французу и продолжал шепотом: – Издадим это как серьезный труд, как учебник французского языка!

Автор смотрел, широко раскрыв глаза, остолбенев от удивления.

– Я знаю вкус среднего английского учителя, – продолжал издатель, – такой учебник будет совершенно согласовываться с его способом обучения! Он никогда не найдет ничего более бессмысленного и более бесполезного. Ему останется только потирать руки от удовольствия.

Автор решился принести искусство в жертву наживе и согласился. Они только переменили заглавие, приложили словарь и напечатали книжку целиком.

Результаты известны каждому школьнику: этот учебник составляет основу нашего филологического образования. Его незаменимость исчезнет только тогда, когда изобретут что-нибудь еще менее подходящее.

А для того, чтобы мальчики не научились языку каким-нибудь случайным образом, у нас приставляют к ним «коренного француза»; свойства его следующие: он родом из Бельгии (хотя свободно болтает по-французски), не способен никого на свете ничему научить и одарен несколькими комическими чертами. С такими данными он являет собой мишень для шуток и шалостей среди монотонного ученья; его два-три урока в неделю делаются клоунадой, которую ученики ждут с большим удовольствием. А когда через несколько лет родители едут с мальчиком в Диенн и находят, что он не умеет даже позвать извозчика, то это приводит их в искреннее изумление.

Я говорю об «изучении» французского языка, потому что мы только ему и обучаем нашу молодежь. Если мальчик говорит хорошо по-немецки, то это часто принимается за признак отсутствия патриотизма; а для чего у нас тратят все-таки время на поверхностное знакомство с французским языком, я решительно не понимаю; это просто смешно. Уж лучше разделить ретроградное мнение, что полное незнание чужих языков – респектабельнее всего?

В немецких школах система другая: здесь один час ежедневно посвящен иностранному языку, чтобы дети не забыли того, что выучили в прошлый раз. Для развлечения не приглашают никаких «коренных иностранцев», а учит немец, который знает чужой язык, как свои пять пальцев. Мальчики не называют его ни «жабой», ни «колбасой» и не устраивают на его уроках состязаний в доморощенном остроумии. Окончив школу, они могут разговаривать не только о перочинных ножиках и о тетках садовников, но и о европейской политике, истории, о Шекспире – и

об акробатах-музыкантах, если о них пойдет речь.

Смотря на немцев с англо-саксонской точки зрения, я, может быть, и упрекну их при случае, но многому можно поучиться у них, в особенности относительно разумного преподавания в школах.

С южной и восточной стороны Ганновер окаймлен великолепным парком. В этом-то парке и произошла драма, в которой Гаррис сыграл главную роль.

В понедельник после обеда мы катались по широким аллеям; кроме нас, было много других велосипедистов и вообще гуляющей публики, потому что тенистые дорожки парка – любимое место прогулок в послеобеденные часы. Среди катающихся мы заметили молодую и красивую барышню на совершенно новом велосипеде. Видно было, что она еще новичок, и чувствовалось, что настанет минута, когда ей понадобится поддержка. Гаррис, с врожденной ему рыцарской вежливостью, предложил нам не удаляться от барышни. Он объяснил – уже не в первый раз, – что у него есть собственные дочери (пока только одна), которые со временем тоже превратятся в красивых взрослых девиц; поэтому он, естественно, интересуется всеми взрослыми красивыми девицами до тридцатипятилетнего возраста – они напоминают ему семью и дом.

Мы проехали мили две, когда заметили человека, стоявшего на месте пересечения пяти аллей и поливавшего зелень из рукава помпы. Рукав, поддерживаемый маленькими колесиками, тянулся за ним, как огромный червяк, из пасти которого вырывалась сильная струя воды; человек направлял ее в разные стороны, то направо, то налево, то вверх, то вниз, поворачивая конец рукава.

– Это гораздо лучше, чем наши бочки с водой! – восторженно заметил Гаррис – он относится строго ко всему британскому. – Гораздо проще, быстрее и экономнее! Ведь этим способом можно в пять минут полить такое пространство, какого не польешь с нашими перевозными бочками в полчаса.

– Да! – иронически заметил Джордж, сидевший за моей спиной на тандеме. – И этим способом также очень легко промочить до нитки целую толпу, прежде чем люди успеют уйти с дороги.

Джордж – в противоположность Гаррису – британец до мозга костей. Я помню, как сильно Гаррис оскорбил его патриотизм, заметив однажды, что в Англии следовало бы ввести гильотину.

– Это гораздо аккуратнее, – прибавил он.

– Так что ж, что аккуратнее! – в негодовании воскликнул Джордж. – Я англичанин, и виселица мне куда милее!

– Наши телеги с бочками, – продолжал он, – отчасти неудобны, но они могут замочить тебе только ноги, и от них легко увернуться, а от такой штуки не спрячешься ни за углом улицы, ни на лестнице соседнего дома.

– А мне доставляет удовольствие смотреть на них, – возразил Гаррис. – Эти люди так ловко обращаются со всей этой прорвой воды! Я видел, как в Страсбурге человек полил огромную площадь, не оставив сухим ни одного дюйма земли и не замочив ни на ком ни одной нитки. Удивительно, как они наловчились соразмерять движения руки с расстоянием. Они могут остановить струю воды у самых твоих носков, перенести ее через голову и продолжать поливку улицы от каблучков. Они могут...

– Замедли-ка ход, – обратился ко мне в эту минуту Джордж.

– Зачем? – спросил я.

– Я хочу сделать остановку. На этого человека действительно стоит посмотреть. Гаррис прав. Я встану за дерево и подожду, пока он кончит работу. Кажется, представление уже начинается: он только что окатил собаку, а теперь усердно поливает тумбу с объявлениями. У этого артиста не хватает, кажется, винтика в голове. Я предпочитаю обождать, пока он кончит.

– Глупости! – отвечал Гаррис. – Не обольет же он тебя.

– Вот я в этом и хочу убедиться. – И Джордж, прыгнув с велосипеда, стал за ствол могучего вяза и принялся набивать трубку.

Мне не было охоты тащить тандем самому – я тоже встал, прислонил его к дереву и присоединился к Джорджу. Гаррис прокричал нам, что мы позорим старую добрую Англию, или что-то в этом роде – и покатил дальше.

В следующее мгновение раздался нечеловеческий крик. Я выглянул из-за дерева и увидел, что отчаянные вопли испускала молодая барышня, которую мы обогнали, но о которой начисто забыли, с головой уйдя в обсуждение вопроса о поливке. Теперь она с отчаянной твердостью ехала прямо сквозь густую струю воды, направленную на нее из рукава помпы. Пораженная ужасом, она не могла догадаться ни спрыгнуть, ни свернуть в сторону, и ехала напрямик, продолжая кричать не своим голосом. А человек был или пьян, или слеп, потому что продолжал лить на нее воду с полнейшим хладнокровием. Со всех сторон раздались крики и ругательства, но он не обращал на них внимания.

Отеческое чувство Гарриса было возмущено. Взволнованный до глубины души, он соскочил с велосипеда и сделал то, что следовало: подбежал к человеку, чтобы остановить его. После этого Гаррису оставалось бы удалиться героем, при общих аплодисментах; но вышло так, что он удалился, напутствуемый оскорблениями и угрозами.

Ему не хватило находчивости: вместо того чтобы завинтить кран помпы и затем поступить с человеком по своему справедливому усмотрению (он мог бы обработать его как боксерскую грушу, и публика вполне одобрила бы это) – Гаррис вздумал отнять у него рукав помпы и окатить в наказание его самого. Но у человека мысль была, очевидно, такая же: не желая расставаться со своим оружием, он решил воспользоваться им и промочить Гарриса насквозь.

Результатом было то, что через несколько секунд они облили водой и всех и все на пятьдесят шагов в окружности, кроме самих себя. Какой-то освирепевший господин из публики, которого так окатили, что ему было безразлично, какой еще вид может принять его наружность, выбежал на арену и присоединился к схватке. Тут они втроем принялись азартно орудовать рукавом по всем направлениям. Могучая струя то взвивалась к небесам и оттуда низвергалась на площадь искрометным дождем, то они направляли ее прямо вниз на аллеи, – и тогда люди подсакивали, не зная, куда деть свои ноги, то водяной бич описывал круг на высоте трех-четырех футов от земли, заставляя всех отбивать земной поклон.

Никто из троих не хотел уступить, никто не мог догадаться повернуть кран, – словно они боролись со слепой стихией. Через сорок пять секунд – Джордж следил по часам – вся площадь была очищена: все живые существа исчезли, кроме одной собаки, которая в сотый раз храбро вскакивала на ноги, хотя ее моментально опять опрокидывало и относило водой то на правом, то на левом боку; тем не менее она лаяла с негодованием, очевидно считая такое явление величайшим беспорядком в природе.

Велосипедисты побросали свои машины и попрятались за деревья. Из-за каждого ствола выглядывала возмущенная физиономия.

Наконец нашелся умный человек: отчаянно рискуя, он пробрался к водопроводной тумбе и завинтил кран. Тогда из-за деревьев стали выползать существа, в большей или меньшей степени похожие на мокрые губки. Каждый был возмущен, каждый хотел дать волю чувствам.

Наружность Гарриса сильно пострадала; сначала я не мог решить, что будет более удобно для его доставки в гостиницу, – корзина для белья или носилки. Джордж выказал в данном случае большую сообразительность, спасшую Гарриса от гибели: стоя за дальним деревом, он остался сух и потому подоспел к нему первым. Гаррис хотел было начать объяснение, но Джордж прервал его на полуслове:

– Садись на велосипед и уноси ноги. Поезжай зигзагами, на случай если будут стрелять. Мы поедem следом за тобой и будем им мешать. Они не знают, что ты из нашей компании, и – можешь положиться! – мы тебя не выдадим.

Не желая расцветивать книгу собственной фантазией, я показал это описание самому Гаррису. Но он находит его преувеличенным: он говорит, что только «побрызгал» на публику. Однако когда я предложил ему сделать для проверки опыт и стать на расстоянии двадцати пяти шагов от того места, откуда я «побрызгаю» на него из рукава помпы – он отказался. Затем он нашел еще одно преувеличение, уверяя, что от катастрофы пострадало не несколько десятков человек, а «душ шесть»; но опять-таки, когда я предложил съездить вместе в Ганновер и разыскать всех, кого он окатил, – он уклонился и от этого.

Таким образом, я без зазрения совести могу считать мой рассказ вполне правдивым описанием события, о котором часть обывателей Ганновера, несомненно, с горечью вспоминает до сих пор.

Выехав из Ганновера под вечер, мы благополучно добрались до Берлина как раз вовремя, чтобы поужинать и пройтись перед сном. Берлин – несимпатичный город, вся его жизненная активность слишком сосредоточена в самом центре, а вокруг царит безжизненный покой. Знаменитая улица Унтер-ден-Линден представляет попытку соединить Оксфорд-стрит с Елисейскими полями; получается что-то невнушительное, некрасивое и слишком широкое. Театры изящны и хороши; здесь на сценическую постановку и на костюмы обращено меньше внимания, чем на самые пьесы; последние не идут, как у нас, сотни раз подряд, а чередуются, так что вы можете ходить в один и тот же театр целую неделю на разные пьесы. Опера не достойна здания, в котором помещается.

Кафе-шантаны имеют не развлекательный, а грубый и вульгарный характер.

В ресторанах самое большое оживление замечается от полночи до трех часов утра; но после этого большинство посетителей все-таки встает в семь и принимается за работу, Берлинцы, кажется, разрешили вопрос, каким образом обходиться без сна.

Я знаю еще только один город, где жизнь продолжается ночью: это Петербург. Но там не встают так рано, как в Берлине. В Петербурге ездят в загородные парки после театров; там оживление начинается только с полуночи: едут туда в санях целых полчаса, и около четырех часов утра на Неве становится тесно от возвращающейся по домам публики. Это представляет удобство для тех, кто уезжает с ранними поездами: можно поужинать со знакомыми и затем отправляться прямо на вокзал, не затрудняя ни других, ни себя ранним вставанием.

Джордж и Гаррис согласились со мной, что долго в Берлине оставаться не стоит, а лучше ехать прямо в Дрезден. Везде можно увидеть то же самое, что в Берлине, за исключением, конечно, самого города; поэтому мы решили просто покататься и осмотреть достопримечательности. Швейцар гостиницы представил нам обыкновенного извозчика, говоря, что он все покажет и объяснит в самый короткий промежуток времени. Мы согласились. Как было условлено, извозчик явился за нами в девять часов утра; это был разумный, бойкий, знающий человек; по-немецки он говорил чисто и понятно и даже знал несколько слов по-английски, которые прибавлял для усиления речи. Словом, сам извозчик был отличный; но его лошадь... Более несимпатичного животного я не встречал!

Она отнеслась к нам самым враждебным образом, лишь только увидела нас. Я вышел из подъезда первым. Она посмотрела сбоку и оглядела меня с ног до головы холодным, подозрительным взглядом. Потом повернулась к знакомому коню, стоявшему перед ней нос к носу, и заметила (лошадь была так беззастенчива, а ее морда так выразительна, что я не мог бы ошибиться):

– Какие чучела встречаются в летний сезон!

В эту минуту вышел Джордж и остановился рядом со мной на тротуаре. Лошадь опять оглянулась и посмотрела на моего друга... По всему ее туловищу пробежала дрожь; даже не дрожь, а судороги, на какие я считал способными только камелеопардов. Очевидно, Джордж произвел еще более отвратительное впечатление, чем я.

– Поразительно! – заметила она опять, обращаясь к знакомому. – Вероятно, есть такое место, где их специально выращивают.

И противная лошадь принялась слизывать у себя с левого плеча мух, словно лишилась в раннем детстве родной матери и выросла под присмотром кошки. Мы с Джорджем молча заняли свои места в экипаже в ожидании Гарриса.

Он появился через минуту. Мне лично его костюм показался очень удачным: белые фланелевые брюки до колен и такая же куртка – сшитые нарочно для катанья в жаркую погоду; шляпа к этому костюму была действительно не совсем обыкновенная, но зато хорошо защищала от солнца.

Лошадь взглянула, воскликнула: «Liben Gott!¹» – и понеслась по Фридрихштрассе, оставя на тротуаре Гарриса с извозчиком. Нас нагнали только на углу Доротеенштрассе.

Я не мог разобрать всего, что хозяин сказал своему коню, он говорил очень быстро и взволнованно; я уловил только несколько фраз:

¹ Боже мой! (нем.)

– Надо же мне как-нибудь зарабатывать деньги! Твоего мнения никто не спрашивает. Чего ты вмешиваешься? Знай свое дело, пока дают есть.

Лошадь прервала выговор очень просто, тронувшись дальше по Доротеенштрассе.

– Ну так поедem, нечего разговаривать! – отвечала она ясным лошадиным языком. – Только будем по возможности держаться боковых улиц.

Перед Бранденбургскими воротами извозчик остановился, сложил кнут и вожжи и, сойдя с козел, начал нам рассказывать о Тиргартене и Рейхстаге. Сообщив его точную длину, ширину и высоту (как настоящий гид), он только сравнил их с афинскими «проповерлеями» – как лошадь перестала лизать себе ноги и оглянулась на хозяина; она ничего не сказала, только посмотрела. Он запнулся и начал нервно рассказывать сначала; на этот раз ворота вышли у него похожими на «порпирлеи»...

Лошадь не стала больше слушать и повернула назад по Унтер-ден-Линден. Извозчик успел вскочить на козлы, но не мог уговорить ее вернуться куда он хотел. Она продолжала бежать рысцой, и по движению ее плеч видно было, что она говорила примерно следующее:

– Ведь они уже видели ворота, чего ж еще? Довольно с них. А подробностей ты сам не знаешь: да они и не поняли бы тебя, даже если б ты знал все отлично.

Так продолжалось наше катанье по всем главным улицам; лошадь соглашалась останавливаться на минуту, чтобы дать нам расслышать названия мест, но все объяснения и описания прерывала моментально, преспокойно трогаясь дальше. Она рассуждала правильно:

– Ведь им нужно только рассказать дома, что они видели. Если же я ошибаюсь, и они умнее, чем кажутся на вид, – то могут прочесть где-нибудь и узнать больше, чем от моего старика, который видел только один путеводитель. Кому может быть интересно, сколько футов в какой-нибудь башне? Ведь это забудешь через пять минут! А кто вспомнит, у того, значит, нет ничего другого в голове. Хозяин раздражает меня своей болтовней. Всем нам давно пора завтракать!

Подумавши, я, право, не могу упрекнуть это белоглазое животное в глупости. Во всяком случае, мне потом случалось иметь дело с такими гидами, при которых я был бы рад вмешательству чудаковатой лошади.

Но «мы не ценим милостей», как говорят шотландцы; и в тот день на голову странной лошади сыпались не благословения, а жестокие укоры.

ГЛАВА VII

Недогадливость Джорджа. – Любовь к порядку. – Воспитанные птицы, и фарфоровые собаки. – Их преимущества. – О том, какой должна быть горная долина. – Август Сильный. Гаррис дает представление. Равнодушные публики. – Джордж, его тетка, подушка и три барышни.

Где-то на полпути между Берлином и Дрезденом Джордж, долго смотревший в окно, спросил:

– Почему это в Германии люди прибывают ящики для писем не к дверям своего дома, как у нас, а к стволам деревьев? Да еще у самой верхушки! Меня бы раздражало лазить каждый раз так высоко, чтобы посмотреть, нет ли писем. И относительно почтальона это жестоко: я уже не говорю о неудобстве, но при сильном ветре, да еще с мешком за плечами, это положительно опасно. Впрочем, я, может быть, напрасно осуждаю немцев, – продолжал он, видимо под впечатлением какой-то новой мысли. – Может быть, они применили к обыденной жизни усовершенствованную голубиную почту? Но все-таки непонятно, почему бы им в таком случае не обучить голубей опускаться с письмами пониже. Ведь даже для нестарого немца должно быть утомительно лазить по деревьям.

Я проследил за его взглядом и отвечал:

– Это не ящики для писем: это гнезда. Ты все еще не понимаешь германского национального духа. Немец любит птиц, но они должны быть аккуратны. Если птица предоставлена собственному произволу, она настроит гнезд где попало, а между тем это вовсе не красивый предмет с немецкой точки зрения: гнездо не выкрашено, нет на нем ни лепной работы, ни флага; оно даже не закрыто: птицы выбрасывают из него веточки, огрызки червей и всякую всячину; они не деликатны; они ухаживают друг за другом, мужья ссорятся с женами, жены кормят детей – все

на виду! Понятное дело, это возмущает немца-хозяина; он обращается к птицам и говорит:

«Вы мне нравитесь, я люблю на вас смотреть, люблю ваше пение; но мне вовсе не нравятся ваши манеры, и я предпочел бы не видеть изнанки вашей семейной жизни. Вот, получите закрытые деревянные домики! Живите в них как угодно, не пачкайте моего сада и вылетайте тогда, когда вам хочется петь».

В Германии вдыхаешь пристрастие к порядку вместе с воздухом; здесь даже грудные дети отбивают такт трещотками; птицам пришлось подчиниться общему вкусу, и они уже соглашались жить в деревянных ящиках, считая, в свою очередь, невоспитанными тех родных и знакомых, которые с глупым упорством продолжают вить себе гнезда в кустах и изгородях. Со временем весь птичий род будет, конечно, приведен к порядку. Теперешний беспорядочный писк и щебетание исчезнут; каждая птица будет знать свое время; и вместо того, чтобы надрываться без всякой пользы в четыре часа утра, в лесу, – горластые певцы будут прилично петь в садах, при пивных, под аккомпанементы рояля. Все ведет к этому: немец любит природу, но он хочет довести ее до совершенства, до блеска «Созвездия Лиры». Он сажает семь роз с северной стороны своего дома и семь роз с южной, и если они растут не одинаково, то он не может спать по ночам от беспокойства. Каждый цветок у него в саду привязан к палочке; из-за нее не видно иногда самого цветка, но немец покоен: он знает, что цветок там, на месте, и что вид у него такой, какой должен быть. Дно пруда он выкладывает цинком, который вынимает потом раз в неделю, тащит в кухню и чистит. В центре садовой лужайки, которая иногда бывает не больше скатерти и непременно окаймлена железной оградкой, помещается фарфоровая собака. Немцы очень любят собак, но фарфоровых больше, чем настоящих: фарфоровая собака не роет в саду ям, чтобы прятать остатки костей, и цветочные клумбы не разлетаются из-под ее задних лап по ветру земляным фонтаном. Фарфоровый пес – идеальный зверь с немецкой точки зрения; он сидит на месте и не пристаёт ни к кому; если вы поклонник моды, то его очень легко переменить или переделать, согласно с новейшими требованиями «Собачьего Клуба»; а если придет охота пооригинальничать или сделать по собственному вкусу, то можно завести особенную собаку – голубую или розовую, а за небольшую приплату даже двухголовую. Ничего этого нельзя добиться от живой собаки.

В определенный день, осенью, немец пригибает все цветы к земле и прикрывает их японскими циновками, а в определенный день весной вновь открывает их и подвязывает к палочкам. Если теплая, светлая осень держится слишком долго или весна наступает слишком поздно – тем хуже для цветов. Ни один серьезный немец не изменит своих правил из-за капризов Солнечной системы – если нельзя управлять погодой, то можно не обращать на нее внимания.

Среди деревьев самой большой любовью в Германии пользуется тополь. В других, неопрятных странах могут воспевать косматый дуб, развесистый каштан, колышущийся вяз. Но немцу все это режет глаз. Тополь гораздо лучше: он растет над тем местом, куда его посадили и как его посадили; характер у него не бестолковый, нет у него нелепых фантазий, не стремится он ни лезть во все стороны, ни размахивать ветками. Он растет так, как должно расти порядочное дерево; и постепенно все деревья в Германии заменяются тополями. Немец любит природу – но при том условии, при котором одна дама соглашалась любить дикарей, а именно: чтобы они были воспитанные и больше одеты. Он любит гулять в лесу – если дорожка ведет к ресторану, если она не слишком крута, если по бокам через каждые двадцать шагов есть скамеечка, на которой можно посидеть и вытереть лоб. Потому что сесть на траву так же дико для немца, как для английского епископа скатиться с верхушки холма, на котором устроены народные гулянья. Немец охотно любит вид с вершины горы – если там прибита досочка с надписью, куда и на что глядеть, и если есть стол и скамейка, чтобы можно было не разорительно освежиться пивом и закусить принесенными с собой бутербродами. Если тут же на дереве он усмотрит полицейское объявление, запрещающее ему куда-нибудь повернуть или что-нибудь делать – то это одаривает его чувством полного удовлетворения и безопасности.

Немец одобряет даже дикую природу – если она не слишком дикая; в случае излишества дикости он принимается за работу и подчиняет себе все, что нужно. Я помню, как однажды забрел в окрестностях Дрездена в прелестную узкую долину, спускавшуюся к Эльбе. Дорожка вилась рядом с горным потоком, который ревел и рвался, покрытый пеной, среди голышей и леса, покрывавшего берега. Я шел все дальше и дальше, совсем очарованный, – как вдруг за крутым

поворотом увидел человек сто рабочих, которые деятельно вычищали долину и приводили в порядок горный поток: валуны и скалы, мешавшие течению воды, выкапывались и вывозились на телегах; по выравненным берегам шла деятельная кладка кирпичей на цементном растворе; нависшие деревья и кусты, запутанные побеги ползучих растений – все это вырывалось с корнем или вытягивалось в одну линию. Пройдя еще дальше, я дошел до того места, которое было уже подчинено предписанным правилам красоты: широкая, гладкая полоса воды медленно и сонно текла по песчаному горизонтальному дну, которое через каждые сто метров осторожно спускалось по трем широким деревянным ступеням; вдоль берегов тянулась каменная набережная, законченная скатом для стока дождевой воды; на одинаковое расстояние в обе стороны земля была вычищена, выровнена и правильно засажена рядами молоденьких тополей, из которых каждый был прикрыт щитом с северной стороны и привязан к железному стержню. Местные власти надеются, что через два года эта долина будет «окончена» по всей длине и явится возможность гулять по ней. На расстоянии каждых пятидесяти метров будет стоять скамейка, каждых ста метров – полицейское объявление и каждой полумили – ресторан.

То же самое происходит с долиной Вертааль между Мемелем и Рейном – а когда-то это было одно из самых восхитительных мест Шварцвальда!.. Ни поэты, ни администраторы в Германии не любят, чтобы природа подавала дурной пример детям. Рев воды возмущает начальство. «Ну, ну!» – говорит оно. – «Это еще что такое? Безобразие! Извольте прекратить весь этот шум и течь прилично; не можете, что ли? Люди подумают, что вы Бог знает где находитесь!» – И начальство одаривает местные воды цинковыми трубами, и деревянными желобами, и ступеньчатыми спусками, и учит их уму-разуму.

Опрятная страна, что и говорить!

Мы приехали в Дрезден в среду вечером и остались там до понедельника. Это самый симпатичный город в Германии, но надо жить в нем, а не заезжать на несколько дней. Его музеи и картинные галереи, дворцы, сады, и прекрасные окрестности полны исторического интереса – все это чарует, если проживешь целую зиму, но ошеломляет при поверхностном осмотре. Здесь нет такого веселья, как в Париже или Вене, которое скоро приедается; очарование Дрездена тише, солиднее – по-немецки, и дольше сохраняется – тоже по-немецки. Для любителя музыки Дрезден все равно что Мекка для магометан: за пять марок можно достать кресло в опере, к сожалению вместе с чувством будущей неприязни ко всем английским, французским и американским оперным театрам.

Как-то неловко видеть в современном чинном и скромном Дрездене памятник курфюрсту Августу Сильному, которого Карлейль называет «греховодником». Он оставил после себя тысячу детей и запирал излишне требовательных, по его мнению, избранных в тюрьмы и замки, где до сих пор показывают комнаты, в которых они страдали и умирали. Много таких замков рассыпано вокруг Дрездена – как костей на поле битвы, – и описания этих развалин в путеводителях относятся к разряду тех, которых воспитанным немецким барышням лучше не читать. Портрет этого чувственного, грубого человека висит в прекрасном музее, который он построил когда-то для боя диких зверей. Но в лице с нависшими бровями видны энергия и вкус, которыми нередко отличаются чувственные натуры. Дрезден обязан ему многими прекрасными сооружениями.

Но больше всего удивляют здесь путешественника электрические конки. Огромные, чистые, длинные вагоны несутся по улицам со скоростью от десяти до двадцати миль в час, огибая углы со смелостью машиниста-ирландца. В них ездят все, за исключением офицеров, которым это не разрешено; и носильщики с вещами, и разодетые дамы, отправляющиеся на бал – все едут вместе. Поезд этой электрической конки внушает большое почтение: все и все на улицах спешат дать ему дорогу; если вы заезжаетесь и попадете под блестящие вагоны, но случайно останетесь живы, то вас, поднявши, немедленно оштрафуют за недостаток почтительности.

Как-то после завтрака Гаррис отправился погулять по городу один. Когда мы в тот же вечер сидели в «Бельведере» и слушали музыку, он довольно неожиданно объявил, что немцы начисто лишены чувства юмора.

– Почему ты так думаешь? – спросил я.

– Да вот сегодня, – отвечал он, – я хотел получше осмотреть город, и поместился для этого на наружной площадке электрической конки, знаешь, на этом...

– Stehplatz²?

– Вот именно. Ну ты, конечно, заметил, что вагоны внезапно трогаются с места, внезапно останавливаются, а углы огибают, как ошалелые.

Я утвердительно кивнул головой.

– Нас было на площадке человек шесть, – продолжал Гаррис. – Я ведь еще не привык, и когда вагон неожиданно двинулся – меня дернуло назад, и я повалился прямо на толстого господина, стоявшего за мной; тот, вероятно, тоже был не особенно тверд на ногах и, в свою очередь, чуть не раздавил мальчика, державшего трубу в зеленом чехле. Ни один из них не улыбнулся, оба только надулись. Я собрался было извиниться, когда вагон вдруг замедлил ход – и я очутился в объятиях седого господина, похожего на профессора, который стоял против меня. Представь себе, что и он не улыбнулся! Ни один мускул не дрогнул на его лице!

– Может быть, он думал о чем-нибудь другом, – заметил я.

– Так не могли же все они думать о чем-нибудь другом: в продолжение пути я не пропустил ни одного из них, на всех падал по несколько раз!.. Они уже знают, когда надо покрепче держаться на ногах, – и неужели же им не казалось комичным то, как меня кидало во все стороны и я судорожно хватался за всех соседей! Я не говорю, что тут был тонкий, изящный юмор – но во всяком случае я насмешил бы у нас большинство публики. А немцы лишь скроили утомленно-кислые мины, в особенности тот, на которого я валился пять раз.

С Джорджем вышло в Дрездене маленькое приключение. На площади Старого Рынка мы заметили магазин, в витринах которого были выставлены очень красивые подушки, атласные, с вышивками ручной работы. В магазине, собственно, торговали стеклом и фарфором, а эти подушки продавались здесь, вероятно, по случаю. Мы часто проходили мимо, и Джордж каждый раз останавливался и рассматривал их. Он говорил, что его тетке понравилась бы такая подушка.

Джордж очень внимателен к своей тетке; он помнил о ней во время всего путешествия: каждый день писал ей длинные письма, из каждого города посылал подарки. По-моему, он слишком усердствует; я ему доказывал, что эта тетка может встретиться с другими его тетками и рассказать обо всех подарках: другие найдут племянника несправедливым – и выйдут неприятности. У меня самого есть тетки. Я знаю, как осторожно надо себя с ними держать. Но Джордж не слушается.

И вот в субботу после завтрака он попросил нас с Гаррисом подождать и никуда не уходить, пока он сходит в этот магазин купить подушку. Мы прождали довольно долго и удивились, когда он вернулся с пустыми руками. На вопросы о подушке он отвечал, что ничего не покупал, что раздумал и что его тетке вряд ли нужна подушка. Очевидно, ему не повезло; что-то тут было нечисто. Мы старались разузнать, в чем дело, но напрасно; он был неразговорчив; после двадцатого вопроса – или около того – он начал отвечать совсем односложно.

Тем не менее вечером, когда мы остались вдвоем, он вдруг сам заговорил откровенно:

– Эти немцы в некоторых случаях ужасные чудаки.

– А что такое? – спросил я.

– Да вот насчет подушки.

– Для тетки?

– Отчего же не для тетки? – Джордж взъерошился в одну секунду; я не встречал ни одного человека, такого щепетильного относительно теток. – Почему я не могу послать тетке подушку?..

– Не волнуйся, – отвечал я. – Я не спорю, я даже уважаю тебя за это.

Успокоившись, он продолжал:

– В окне, если помнишь, выставлено четыре штуки; все приблизительно одинаковые и все с одинаковым ярлыком: «Цена 20 марок». Я не могу похвастаться глубоким знанием немецкого языка, но во всяком случае меня везде понимают, и я, в свою очередь, понимаю, что мне говорят, – конечно, если не гогочут по-гусиному. Ну вот, захожу я в магазин. Ко мне подходит миниатюрная девушка, хорошенькая и застенчивая – такая, от которой ни в каком случае нельзя было ожидать ничего подобного! Я никогда в жизни не был так поражен.

² Задняя площадка трамвая (нем.).

– Поражен? Чем?

Джордж имеет обыкновение перескакивать на самый конец, когда рассказывает начало истории; это ужасно несносная привычка.

– Поражен тем, что случилось; тем, о чем я тебе рассказываю. Она улыбнулась и спросила, чего я желаю. Я прекрасно понял ее вопрос; нельзя было ошибиться. Вот я и положил на прилавок монету в двадцать марок и говорю:

– Пожалуйста, дайте мне подушку.

Она вытаращила на меня глаза так, как будто я спросил целую перину. Я подумал, что она не расслышала, и повторил то же самое громче. Если б я вздумал потрепать ее по подбородку, то и тогда ее лицо не могло бы выразить большего удивления и негодования.

– Вы, вероятно, ошиблись, – сказала она. Мне не хотелось пускаться в длинный разговор, в котором я действительно мог бы запутаться, поэтому я указал пальцем на мои деньги и отвечал коротко и ясно:

– Ошибки нет. Дайте мне подушку. Подушку в двадцать марок.

Тут подошла другая продавщица, старше на вид. Когда первая повторила ей мои слова, та страшно взволновалась, не хотела даже сначала поверить, что я такой человек, которому может понадобиться подушка! Она сама переспросила меня:

– Вы сказали, что вам нужна подушка?

– Я сказал это уже три раза и повторю в четвертый: мне нужна подушка!

– Этого вы не получите! – отвечала тогда старшая девица.

Я начал сердиться. Если бы мне в самом деле не была нужна подушка, я мог бы выйти из магазина. Но я решил купить то, что хотел и что видел собственными глазами в витрине, с надписями, которые доказывали, что эти вещи лежат для продажи. Не обязан же я был объяснять им, для чего и для кого мне нужна подушка! Заявление старшей девицы меня возмутило, и я отвечал решительно:

– Нет, я получу подушку!

Кажется, это понятно и просто; а между тем девицы потребовали помощи: к ним присоединилась еще третья – хорошенький чертенок с блестящими глазами и задорной улыбкой. В другое время я не отказался бы поболтать с ней, но в этот раз такое подкрепление показалось мне совершенно излишним – целых три продавщицы из-за одной подушки! – Больше никого не было в магазине; видимо, они представляли всю его силу.

Прежде чем первые две сообщили третьей половину нашего разговора – та принялась фыркать от смеха; это была барышня именно из таких, которые готовы фыркать каждую минуту. Тут они принялись трещать без перерыва, поглядывая на меня каждую секунду, и скоро все трое начали давиться от смеха, глупенькие девочки! Можно было подумать, что я какой-нибудь клоун.

Когда третья из них отчасти подавила свое фыркание, то подошла ко мне и спросила:

– А получив это, вы уйдете?

Я не понял ее сразу, и она повторила:

– Когда вы получите подушку... вы уйдете отсюда – сейчас же?

Я только о том и думал, чтобы уйти, и, понятное дело, согласился. Но все-таки прибавил, что без подушки я из лавки не выйду, хотя бы мне и пришлось остаться здесь на всю ночь.

Тогда она снова присоединилась к своим подругам. Я думал, что они достанут мне с витрины подушку, и дело будет кончено. Но вместо того произошла самая удивительная вещь: две первые идиотки встали за спиной у третьей и начали подталкивать ее по направлению ко мне. Так они приближались, продолжая давиться и фыркать, пока передняя не очутилась у меня под самым носом. Понятное дело, я стоял, как ошалелый, – и прежде чем успел что-нибудь сообразить, она поднялась на цыпочки, положила руки мне на плечи и поцеловала меня! После этого, спрятав лицо в передник, она убежала вместе с другой, а оставшаяся отворила мне дверь с такой уверенностью, что я вышел на улицу, как во сне, оставив на прилавке двадцать марок. Я не скажу, чтобы поцелуй мне был неприятен: но я его не требовал – я ждал подушку!.. Мне неохота возвращаться теперь в эту лавку. Я – ничего не понимаю.

– А что ты у них спрашивал? – спросил я.

– Подушку!

– Я знаю, что тебе нужна была подушка, но каким ты словом называл ее по-немецки?

– «Ein Kuss», – отвечал Джордж.

– Ну так тебе нечего жаловаться. Ты немножко спутал: «Kuss» значит поцелуй, а не подушка, а подушка по-немецки – «ein Kissen». Ты требовал поцелуя за двадцать марок и – судя по твоему описанию третьей барышни – можно сказать, что ты не переплатил. Но все же мне кажется, что лучше не рассказывать об этом Гаррису: мне помнится, что у него тоже есть тетка...

Джордж согласился, что лучше не рассказывать.

ГЛАВА VIII

Мистер и мисс Джонс из Манчестера. – Достоинства какао. – Способ достижения всеобщего мира. – Окна как соблазнительное средство для доказательства прав. – Проводник, его пороки. – Судьба любителей немецкого пива. – Гаррис и я делаем доброе дело. – Обыкновенная статую. – Идеальное место – без перца. – Женщина и город.

Мы сидели на большом Дрезденском вокзале в ожидании поезда в Прагу или, вернее, в ожидании той минуты, когда предержавшие власти выпустят нас на платформу. Джордж, ухившийся купить несколько книжек на дорогу, вернулся с растерянными, круглыми глазами.

– Я их видел, – сказал он.

– Кого видел?

Он был так поражен, что даже не мог ответить связно:

– Там. Они идут сюда. Парой. Увидите сами. Я не шучу. Они живые.

Тогда в газетах много писали про морского змея, и в первую секунду мне пришло в голову, что Джордж встретился с таинственным страшилищем; но я скоро сообразил, что в центре Европы, за триста миль от берега моря, это было бы невозможно. Не успел я переспросить его, как он схватил меня за руку:

– Гляди! Разве не правда?

Я повернулся и увидел то, что вряд ли случается часто видеть англичанам, сидящим дома: путешествующего британца с дочерью – в таком виде, какой считается для нас обязательным, по мнению континентальных жителей. «Милорд» и «мисс», во плоти и крови представлявшие оригинал того, что по традиции изображается в европейских юмористических журналах и на сценах, были перед нами воочию (если это нам только не снилось) – безукоризненные до корней волос. Милорд был высок, худ, с желтыми волосами, огромным носом и длинными торжественными бакенбардами, введенными когда-то в моду любимцем публики, актером Дондрери. Поверх костюма из крапчатой материи на нем было легкое пальто, почти до пят. С белого пробкового шлема спускалась зеленая вуаль, на боку висел бинокль, и в руке, обтянутой сине-зеленой перчаткой, он нес альпеншток, конец которого возвышался над его головой.

Девушка была длинная и угловатая. Я не сумею описать ее костюма; мне мог бы помочь в этом только покойный дедушка, которому ее платье показалось бы, может быть, более модным, чем мне. Я могу только сказать, что из-под него, неизвестно к чему, видны были щиколотки (если читатель позволит мне упоминать подобные вещи!), которые столь явно оскорбляли эстетическое чувство, что их следовало бы прикрыть. Ее шляпа напомнила мне старинную поэтессу, миссис Геманс. На ней были прюнелевые ботинки на резинках, вязанные перчатки без пальцев, пенсне и саквояж, привязанный к поясу; в руках она тоже несла альпеншток и общим видом походила на узкую, длинную подушку на ходулях.

Гаррис бросился за своей фотографической камерой, но, конечно, напрасно. Мы уже знаем, что если Гаррис мечется во все стороны, как заблудившийся пес, и кричит: «Где моя камера? В какую пропасть она провалилась?! Неужели никто не видал, где моя камера?» – то значит, встретилось что-нибудь такое, что достойно фотографического снимка.

Их отличала не только наружность: медленно выступая, они глазели по сторонам, рассматривая все подробно. У девушки был в руках «Путеводитель» с разговорными фразами, а у джентльмена открытый том Бедекера; обращаясь к носильщикам и лакеям, он хладнокровно тыкал их концом своего альпенштока, чтобы привлечь внимание. А барышня восклицала: «Позор!» и отворачивалась при виде каждой рекламы какао.

В последнем случае ей можно найти оправдание: неизвестно почему, но фабриканты какао считают его питательность настолько большой, что для дам, пьющих какао, не требуется не только никакой другой пищи, но даже одежды: судя по расклеенным повсюду плакатам, в Англии для потребителей какао достаточно одного ярда кисеи, а на континенте даже и то лишнее. Но это между прочим.

Конечно, «англичане» немедленно привлекли всеобщее внимание. Их французского языка никто не понимал, а пробуя говорить по-немецки, они сами себя не понимали. Пользуясь возможностью помочь им, я подошел и заговорил. Они были крайне любезны. Джентльмен объявил, что его фамилия Джонс и что он родом из Манчестера, но, к моему удивлению, Манчестер был ему очень мало знаком. Я спросил, куда они направляются; он отвечал, что еще не знает, что это зависит от многих обстоятельств. Я спросил, не мешает ли ему альпеншток на улицах многолюдного города; он признался, что иногда мешает. Я спросил, не трудно ли ему различать предметы сквозь вуаль; он объяснил, что вуаль предохраняет лицо от мух. Я обратился к барышне с вопросом, не находит ли она ветер слишком холодным; она отвечала, что находит – в особенности на углах.

Я, конечно, задал все эти вопросы не подряд, а среди разговора, и мы расстались очень любезно.

Поразмыслив, я пришел к определенному выводу относительно подобных явлений. Один господин во Франкфурте, которому я описал впоследствии странную пару, говорил, что он видел их в Париже через три недели после столкновения из-за Фашоды; а управляющий одного железнодорожного английского завода, встретясь со мной недавно в Страсбурге, вспоминал, что он видел их в Берлине во время возбуждения, вызванного трансваальским вопросом. По всей вероятности – это актеры, нанятые в видах сохранения международного мира. Французское министерство иностранных дел, желая унять озлобление толпы, требующей войны с Англией, наняло эту удивительную парочку и отправило их гулять по Парижу. Толпа, увидев живые образчики британских граждан, начала смеяться, и негодование превратилось в веселье, так как невозможно стремиться убить того, кто смешон. Успех этой уловки навел странствующих актеров на мысль предложить свои услуги германскому правительству – и это тоже, как видно, достигло благой цели.

Английскому правительству не следовало бы брезговать подобным примером. Было бы полезно держать в распоряжении наших министерств в Лондоне несколько толстых коротышек-французов и рассылать их по стране, когда является необходимость: пусть бегают, подергивая плечами и уплетая бутерброды с лягушками. Хорошо тоже было бы выпускать по временам ряд неопрятно одетых немцев с длинными прядями неподстриженных волос; им достаточно расхаживать, дымя трубками и говорить: «No». Наш народ смеялся бы, замечая: «Как! Воевать с такими-то? Да ведь это глупо».

Если правительство не согласно, я предложил бы этот способ «Лиге мира».

В Праге мы невольно задержались; это один из самых интересных городов в Европе. Стены Праги дышат историей и поэзией; каждое ее предместье было полем брани.

Это город, в котором действительно могла зародиться реформация и Тридцатилетняя война.

Но невольно думается, что в Праге происходило бы вдвое меньше волнений – если бы не соблазнительно-широкие окна старых зданий. Первая из исторических катастроф началась там с того, что из окон ратуши выбросили семь ратманов прямо на пики толпившихся внизу гуситов. Вторая знаменитая буча была в старом замке на Градчанах, здесь выбросили из окон имперских советников.

Если иные вопросы и решались миром, то, вероятно, потому, что они обсуждались в темных подземельях; а окна представляют для истинного пражанина слишком увлекательный довод для доказательства правоты.

В Теинской церкви стоит изъеденная червями кафедра, с которой проповедывал Ян Гус. Здесь раздается теперь голос католического священника, тогда как в далеком Констанце полузаросший плющем камень обозначает место, где Гус и Иероним умерли на костре. История любит посмеяться над человечеством! В этой же Теинской церкви покоится прах Тихо-де-Браге, известного астронома, который, однако, защищал старое заблуждение, думая, что земля представ-

ляет центр вселенной.

По грязным, словно бы сплюснутым переулкам Праги не раз спешили слепой Жижка и свободомыслящий Валленштейн. Крутые спуски и извилистые улицы упорно осаждались легионами Сигизмунда и жестокими таборитами; испуганные протестанты скрывались от императорских войск; в городские ворота ломились саксонцы, баварцы и французы, а на мостах теснились «святые» Густава Адольфа.

Присутствие евреев всегда составляло отличительную черту Праги. Иногда они присоединялись к взаимной резне христиан друг с другом, и флаг, развевающийся над сводами «Старо-новой школы» – одной из синагог – доказывает, как храбро они помогали Фердинанду против шведов-протестантов. Еврейский квартал в Праге – «гетто» – один из древнейших в Европе; восемьсот лет тому назад, маленькие тесные синагоги были переполнены молящимися, а их жены благоговейно слушали из-за массивных стен с проделанными для этого отверстиями. Прилегающее к «гетто» кладбище «Дом живых» представляет место, где должны покоиться останки каждого пражского еврея; поэтому с течением столетий тесное место переполнилось костями, и могильные памятники лежат грудami, словно вывернутые духом тех, кто борется за свое место под землею.

Стены «гетто» постепенно уничтожаются, но евреи все еще держатся родного места, хотя там растет теперь новый великолепнейший квартал.

Когда мы были в Дрездене, нам советовали не говорить в Праге по-немецки; расовая вражда чехов к немцам так сильна во всей Богемии, что лучше не высказывать своей приверженности к народу, влияние которого среди чехов уже не то, что было прежде.

Тем не менее мы говорили по-немецки: иначе нам пришлось бы совсем молчать. Чешский язык считается очень древним и разработанным; в его азбуке сорок две буквы – это для нас похоже на китайчину; такому языку шутя не научишься. Мы решили, что безопаснее объясняться по-немецки, чем рисковать. И действительно, никаких неприятностей не вышло. Может быть, мы обязаны этим сообразительности, чуткости чехов: они могли заметить какую-нибудь микро-скопическую ошибку в грамматике, какой-нибудь намек на иностранный акцент – и догадались, что мы не немцы! Впрочем, утверждать этого я не могу.

Для безопасности мы все-таки взяли гида. Безупречного гида я никогда не встречал; но у этого было два крупных недостатка. Первый из них заключался в том, что он слабо говорил по-английски; даже трудно было назвать это английским языком. Впрочем, его нельзя винить: он учился у дамы-шотландки. Я порядочно понимаю шотландское наречье; для того, кто не хочет отстать от современной английской литературы, это необходимо; но все тонкости, да еще изменения по правилам немецкой грамматики, да при славянском акценте – просто убивают всякую сообразительность! Сначала нам постоянно казалось, что наш гид задыхается и вот-вот умрет у нас на руках. Но в продолжение дня мы привыкли и отделались от инстинктивного стремления валить его на спину и раздевать, лишь только он открывал рот. К вечеру мы стали даже понимать половину его речи – и таким образом открыли второй порок этого человека: оказалось, что он изобрел средство для рращения волос и уговорил одного из местных аптекарей изготовлять и продавать его. Половину времени он употреблял на то, что описывал будущее счастливое состояние человечества – когда оно будет пользоваться его снадобьем. Так как мы одобрительно прислушивались к его восторженным звукам – полагая, что последние относятся к красоте видов и построек, – то он увлекся окончательно, и не было никакой возможности отвлечь его от излюбленной темы. Старинные дворцы и развалины церквей вызывали в нем презрительное отношение, как пустяки, потрафляющие болезненным декадентским вкусам. Что нам за дело до героев с отбитыми головами? Какой смысл в изображениях лысых святых? Мы должны интересоваться живущим человечеством – девушками с роскошными волосами и юношами со свирепыми усами, какие изображены на этикетках «Konreo»? Подсознательно он разделял всю историю мира на две эпохи: старую – с больным, озлобленным родом людским (до употребления «Konreo»), и новую – с веселым, круглолицым, счастливым человечеством (после появления «Konreo»). При подобных взглядах трудно быть гидом в средневековом городе.

Он прислал нам по бутылке своего снадобья в гостиницу. Оказалось, что мы действительно просили его об этом при самом начале знакомства. Я лично не берусь ни хвалить, ни бранить новое средство: мне столько раз приходилось испытывать разочарования, что я больше никаких

средств не пробую; и кроме того, «Конгео» слегка пахнет керосином, что вовсе неудобно для женатого человека. Джордж отослал все три бутылки своему знакомому в Лидс.

В Праге нам, в свою очередь, удалось оказать Джорджу серьезную услугу. С некоторого времени мы стали замечать, что он сильно увлекается пильзенским пивом; это восхитительный напиток, в особенности в жару – но коварный! С ним надо быть осторожным; голова от него не кружится, а между тем фигура портится ужасно. Въезжая в Германию, я всегда говорю себе: «Ну, пива я пить не стану. Гораздо лучше местное вино с содовой водой и изредка стакан воды из щелочного источника. А пива – никогда! Или почти никогда.

Это благонамеренное решение; я советую придерживаться его всем путешественникам. Только выполнить его трудно. Джордж, например, сразу же отказался связывать себя обещанием.

– В умеренном количестве пиво даже полезно. Пара стаканов в день никому не может принести вреда?

Может быть, Джордж и прав; нас тревожили не пара стаканов, а полдюжины, которые он выпивал.

– Это надо прекратить, – сказал Гаррис. – Дело становится серьезным.

– Джордж объясняет это наследственностью, – отвечал я, – У них в роду все страдали хронической жадой.

– Так на это есть „Аполлинарис“: его можно пить с лимонным соком сколько угодно. Меня беспокоит фигура Джорджа; он скоро потеряет всю свою стройность, – беспокоился Гаррис.

Судьба благоприятствовала нашему намерению, и скоро план борьбы был готов.

В это время в Праге для украшения города собирались воздвигнуть новую статую – памятник кому-то, я забыл кому. Статуя была обыкновенная, как полагается: человек с вытянутой шеей верхом на вздыбленном коне. Но отдельные фрагменты статуи были чрезвычайно оригинальны: человек держал в вытянутой руке не меч, а собственную шляпу с перьями; а у лошади, вместо обычного для таких памятников роскошного водопада хвоста, торчал такой жалкий огрызок, что поневоле являлось сомнение, стала ли бы кляча с подобным хвостом гарцевать на задних ногах.

Памятник стоял на небольшой площади, недалеко от моста, но он был установлен там временно: городские власти благоразумно решили сначала провести опыт и убедиться – где самое лучшее место для памятника. С этой целью с него были сняты три дощатые копии – простые и грубые, но такой же величины: получились профили, на которые, конечно, невозможно было смотреть вблизи, но на известном расстоянии они давали верное представление об оригинале. Профили эти были расставлены на всех подходящих для памятника местах: одна подле моста Франца-Иосифа, другая на открытом месте за театром и третья посреди Вацлавской площади.

– Если Джордж всех этих статуй не заметил, – сказал Гаррис (мы с ним гуляли вдвоем, так как Джордж остался в гостинице писать тетке письмо), – то мы его исправим сегодня же вечером. Он станет опять и добродетельным, и стройным.

За обедом мы осторожно исследовали почву; оказалось, что Джордж не имеет представления о копиях статуи. И вот, отправившись вечером гулять, мы повели его прямо к настоящему памятнику. Он хотел ограничиться, по обыкновению, поверхностным осмотром и идти дальше, но мы подвели его вплотную и настояли на том, чтобы внимательно осмотреть памятник. Четыре раза обвели мы Джорджа вокруг статуи, чтобы он запомнил мельчайшие подробности; рассказали ему историю человека, которому сооружен памятник, сообщили имя скульптора, точную величину и точный вес статуи. Кажется, ему все это сильно надоело, но мы все-таки не отстали, пока он не был насыщен информацией, как губка водой; он, наверное, ни о чем на свете никогда не знал так много, как в тот вечер о памятнике. Отошли мы наконец только с тем условием, чтобы завтра утром он пришел еще раз полюбоваться статуей при дневном свете; и кроме того, заставили его тут же, при нас, записать точно место, на котором стоит памятник.

Затем мы зашли в любимую пивную Джорджа, сели рядом и, пока он угощался, рассказывали разные истории о людях, которые сходили с ума от пива, умирали молодыми от пива и принуждены были расставаться с прекрасными возлюбленными – тоже от пива.

Часов в десять мы тронулись домой. Было ветрено, мрачные рваные тучи быстро неслись по небу, закрывая по временам бледную луну.

– Мы пойдем другой дорогой, – сказал Гаррис. – Можно вернуться в гостиницу по набережной. Там должно быть дивно при лунном свете!

Пока мы шли, Гаррис рассказал историю об одном сумасшедшем, которого он видел на свободе последний раз в такую же точно ночь: они шли вдвоем по набережной Темзы, и знакомый страшно испугался: ему привиделась у Вестминстерского моста статуя герцога Веллингтона – тогда как всем известно, что она стоит на Пикадилли.

В эту минуту мы подошли к первой из трех копий. Она стояла на маленькой загороженной площадке, прямо против нас, по другую сторону улицы. Джордж внезапно остановился и прислонился к парапету набережной.

– Что такое? – спросил я. – Голова закружилась?

– Нет... Меня всегда поражает, как все статуи похожи одна на другую... – отвечал он глухим голосом, не открывая взгляда от темного силуэта.

– Я не могу с тобой согласиться, – заметил Гаррис. – Картины действительно встречаются очень схожие, но в каждой статуе есть что-нибудь своеобразное. Возьмем, например, хотя тот памятник, который мы сегодня осматривали: он изображал всадника на коне; много бывает всадников на конях, но не таких.

– Напротив, совершенно таких же! – раздраженно возразил Джордж. – Вечно и лошадь та же самая, и всадник тот же самый! Глупо не соглашаться с этим. Он, казалось, сердился на Гарриса.

– Почему ты так думаешь? – спросил я.

– Почему я так думаю? – И Джордж быстро повернулся ко мне; – Да ты посмотри на эту штуку!

– На какую штуку?

– Да вот эту!.. Посмотри: та же лошадь с остатком хвоста стоит на задних ногах, тот же человек без шляпы, тот же.

– Это ты рассказываешь, – перебил Гаррис, – о памятнике на Рингплатце.

– Нет! Я говорю об этом памятнике!

– О каком „этом“? – спросил Гаррис. Джордж поглядел на него; но Гаррис мог бы быть отличным актером: его лицо выражало только дружеское сочувствие, смешанное с тревогой.

Джордж повернулся ко мне. Я постарался, насколько мог, придать своей физиономии то же выражение, что было у Гарриса, прибавив от себя еще легкую укоризну.

– Позвать тебе извозчика? – спросил я мягко и нежно. – Я сейчас найду и позову!

– На кой мне дьявол извозчика? – вдруг крикнул Джордж с самой грубой неблагодарностью в голосе. – Да что вы, шутки не понимаете, что ли?.. Гулять с вами все равно что со старыми бабами! – И он быстро зашагал через мост.

– Очень рад, что ты только пошутил, – сказал Гаррис, догоняя Джорджа. – Я знаю один случай размягчения мозга, которое началось с того, что...

– Дурак!.. – перебил Джордж – Все-то ты на свете знаешь.

Он был крайне груб.

Мы повели его мимо театра, говоря, что это самая короткая дорога; это действительно была ближайшая дорога.

На площади за театром гордо вздымался деревянный всадник на коне. Джордж взглянул – и опять остановился.

– Что с тобой? – ласково спросил Гаррис. – Не болен ли ты в самом деле?

– Я не верю, что это самый близкий путь! – проговорил Джордж.

– Напрасно не веришь. Уверю тебя, что ближе нет дороги.

– Все равно я пойду по другой. – И Джордж свернул в сторону, оставляя нас позади.

Идя по Фердинандштрассе, Гаррис завел со мной разговор о сумасшедших домах: он утверждал, что они недостаточно хорошо устроены в Англии: один из его товарищей, находясь в сумасшедшем доме...

– У тебя, кажется, большая часть товарищей находится в сумасшедших домах! – опять грубо перебил его Джордж, желая этим сказать, что Гаррис выбирает себе друзей исключительно среди помешанных.

Но Гаррис не рассердился:

– Действительно, это странно, – проговорил он задумчиво и тихо, – сколько моих товарищей сошли с ума?.. Иногда просто страшно делается.

На углу Вацлавской площади Гаррис, шагавший впереди, остановился и, засунув руки в карманы, заметил с восхищением:

– Прелестное место, не правда ли?

Мы с Джорджем тоже взглянули вперед. На расстоянии двухсот метров, на фоне бурного неба вздымался конь с жалким хвостом. Всадник, сняв шляпу, указывал ею прямо на луну. Это была самая лучшая из трех копий. При таком освещении она создавала полную иллюзию оригинала.

– Если вам не трудно... – заговорил Джордж покорным, подавленным голосом, без всяких признаков негодования или грубости, – если вам не трудно, то нельзя ли позвать извозчика?..

– Мне так и казалось, что ты нездоров, – заметил Гаррис. – Голова кружится?

– Немножко...

– Я это раньше заметил, только не хотел тебе говорить, – продолжал Гаррис. – Тебе мерещится всякая чушь, не правда ли?

– Нет, нет! Я не знаю, что это такое.

– А я знаю, – торжественно и мрачно отвечал Гаррис: – Это последствия неумеренного употребления немецкого пива! Я знал случай с одним человеком, который...

– Пожалуйста, теперь не рассказывай!.. Я вполне верю, только у меня странное чувство – не хочется ни о чем слушать...

– Это от пива: ты к нему не можешь привыкнуть.

– Вероятно!.. С сегодняшнего дня я больше пить не буду. Пиво мне вредно.

Мы отвезли Джорджа домой и уложили в постель. Он был послушен, как дитя, и все время благодарил нас.

Впоследствии, после дня, удачно проведенного на велосипедах и отличного обеда, мы дали ему хорошую сигару, убрали все вещи с ближайших столов и затем рассказали, как мы его вылечили.

– Вы говорите, сколько там было этих деревянных копий со статуи? – спросил Джордж, когда мы кончили.

– Три.

– Только три? Это точно?

– Точно! – отвечал Гаррис. – А что?

– Нет, я так. Ничего.

Но, кажется, Джордж не поверил другу. Из Праги мы направились в Нюрнберг, через Карлсбад. говорят, что истинные немцы, умирая, едут в Карлсбад, как американцы – в Париж. Но это сомнительно: удобств здесь нет никаких. Здесь полагается вставать в пять часов и отправляться «гулять» вокруг шпруделя и оркестра музыки, в страшной давке. Здесь слышно больше языков, чем при Вавилонском столпотворении. Польские евреи, русская аристократия, китайские мандарины, турецкие паши, норвежцы – имеющие такой вид, словно они только что сошли со страниц Ибсена, – француженки с парижских бульваров, испанские гранды, английские графини, черногорцы, миллионеры из Чикаго. Здесь можно достать всю роскошь современной цивилизации – за исключением перца. Перец считается отравой для здешних пациентов; и те, кто не в состоянии или не обязаны придерживаться диеты, выезжают на пикники в те места, где можно на свободе насладиться перичной оргией.

Путешественника, ожидающего от Нюрнберга впечатлений средневекового города, ждет разочарование. Романтических видов и поэтических уголков здесь немало, но они окружены и скрыты современной архитектурой. Собственно говоря, город – как женщина – настолько стар, насколько он кажется старым; возраст Нюрнберга несколько замаскирован свежей краской, штукатуркой и нарядным освещением; но, взглядевшись, легко заметить его морщинистые, серые стены.

ГЛАВА IX

Гаррис нарушает закон. – Опасности, ожидающие услужливых людей. – Преступления

Джорджа. – Рай земной, с точки зрения молодого англичанина. – Разочарования, ожидающие его в Англии. – Обилие развлечений в Германии. – Закон о тюфяках. – Воспитанная собака. – Невоспитанный жук. – Люди, которые делают то, что должны, делать. – Дети, которые делают то, что должны делать – и другие дети. – Ограниченная свобода.

По пути из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас умудрился попасть в неприятную историю.

Началось с Гарриса. Мы были тогда в Штутгарте; это прелестный, чистый, светлый городок – маленький Дрезден; даже лучше Дрездена, потому что все близко и все небольшое: небольшая картинная галерея, небольшой музей редкостей, половина дворца – и больше ничего; осмотрев все это, можно гулять и наслаждаться с чистой совестью.

Гаррис начал с того, что выказал неуважение к властям; он оскорбил сторожа; он принял его не за сторожа, а за пожарного, и назвал ослом.

Хотя в Германии не позволено называть сторожей ослами, но Гаррис в данном случае был совершенно прав, Дело вышло таким образом; мы гуляли в городском саду, когда Гаррису вздумалось перешагнуть через протянутую над травой проволоку; рядом был выход из сада – настоящая калитка, но Гаррису, вероятно, проще показалось прямо шагнуть на тротуар, что он и сделал. Стоявший у калитки сторож немедленно указал ему на табличку: «Durchgang verboten!» и объяснил Гаррису, что он совершил противозаконный поступок, Гаррис поблагодарил (он уверяет, что не заметил объявления, хотя оно, несомненно, там было), – и хотел идти дальше; но сторож потребовал, чтобы он перешагнул обратно. Тогда Гаррис логически заметил, что, переступая обратно, он вторично нарушит предписание, чего не желал бы делать. Сторож сообразил справедливость этого замечания и потребовал тогда, чтобы Гаррис сейчас же вошел опять в сад через калитку и немедленно вышел через нее же обратно. Тут-то Гаррис и назвал его ослом. Это стоило ему сорок марок и задержало нас в Штутгарте на целый день.

Вслед за Гаррисом отличился я – украв велосипед. Я не хотел ничего красть, я хотел лишь принести пользу. Мы были на платформе вокзала в Карлсруэ, когда я заметил в товарном вагоне отходившего поезда велосипед Гарриса.

Никого не было поблизости, чтобы помочь мне, и я в последнюю секунду извлек его оттуда собственными руками и торжественно покатыл по платформе – как вдруг увидел настоящий велосипед моего друга, прислоненный к стене за кучей жестяных сосудов с молоком. Очевидно, я ошибся и «спас» чью-то чужую собственность.

Положение было не совсем удобное. В Англии я отправился бы к начальнику станции и объяснил бы ему ошибку; но в Германии этим не удовольствуются: здесь полагается водить человека по разным инстанциям, чтобы он объяснил свой поступок по крайней мере шести разным лицам; а если кого-нибудь из них не застанешь, или ему неохота слушать объяснения в данную минуту, – то вас оставят переночевать до завтра. Ввиду этого я решил поставить чужой велосипед в каком-нибудь укромном месте и затем пойти прогуляться, не подымая шума. Заметив в стороне сарайчик, казавшийся очень подходящим, я только успел подкатить к нему велосипед, как меня усмотрел железнодорожный служащий в красной фуражке, похожий на отставного фельдмаршала. Он подошел и спросил:

– Что вы здесь делаете с велосипедом?

– Хочу его убраться в сарай, чтобы не мешал на дороге.

Я постарался выразить тоном моего голоса, что оказываю этим любезность, но чиновник был не из чутких людей; вместо благодарности он начал меня допрашивать:

– Это ваш велосипед?

– Не совсем, – отвечал я.

– Чей же он?

– Право, не могу вам сказать: я не знаю, чей он.

– Откуда же вы его взяли? – В этом вопросе зазвучала оскорбительная подозрительность.

– Из товарного вагона, – отвечал я с достоинством, какое только мог выразить в эту минуту. – Я просто ошибся, – прибавил я откровенно.

– Я так и думал, – сказал чиновник, не давая мне договорить, и в ту же секунду свистнул.

О том, что последовало затем, вспоминать не интересно. Благодаря судьбе – которая бере-

жет некоторых из нас – в Карлсруэ у меня оказался знакомый, пользующийся некоторым влиянием; это было крайне удачно, и мне удалось выскользнуть из-под нависшего меча закона; но в местной полиции до сих пор думают, что, выпустив меня сухим из воды, они сделали страшный промах.

Вся эта история повергла нас в большое замешательство, из которого последовало третье преступление. Мы потеряли Джорджа, и он отличился пуще всех. Впоследствии выяснилось, что он ждал нас у дверей полицейского управления; но нам очень хотелось уехать поскорее, мы его не заметили, не подумали хорошенько и, решив, что он уехал вперед, вскочили в первый же поезд, проходивший в Баден.

Бедный Джордж, устав от напрасного ожидания, пришел на вокзал и убедился, что мы уехали вместе со всем багажом и его деньгами – бывшими у меня в кармане, как у общественного кассира. Оставленный на произвол судьбы, с несколькими мелкими монетами в кошельке, Джордж махнул рукой на все законы и решил идти напролом, по пути позора и бесчестья.

Когда мы с Гаррисом прочли перечень всех его преступлений, указанных в присланной из суда повестке, – у нас волосы стали дыбом.

Надо сказать, что путешествовать по Германии – дело довольно сложное. Вы покупаете на станции билет с обозначением места, откуда и куда едете; вы думаете, что этого достаточно, но сильно ошибаетесь. Поезд подходит; вы стараетесь пробиться сквозь толпу и занять место, но кондуктор отстраняет вас величественным мановением руки: где доказательства на право проезда? Вы показываете билет; но он объясняет, что билет ничего не значит; это лишь первый шаг, теперь надо идти в кассу и прикупить другой билет – на право проезда в скором поезде. Вы идете, покупаете и возвращаетесь в радостном настроении, думая, что все тревожения кончены. Действительно, вас пускают в вагон; но тут выясняется, что сесть вы не имеете права. Вы обязаны взять третий билет – плацкарту – и сидеть на указанном месте, пока вас не привезут, куда следует.

Я, право, не знаю, что может выйти, если человек купит первый билет, дающий ему право проезда, но откажется от второго и третьего. Заставят ли его бежать за поездом? Или позволят приклеить на себя билет и поместиться в товарном вагоне?

И что сделают с пассажиром, который, имея добавочный билет для скорого поезда, откажется купить плацкарту? Положат ли его на сетку для зонтиков или позволят висеть за окном?

У Джорджа хватило денег только на билет третьего класса в почтово-пассажирском поезде. Чтобы избежать разговоров с кондукторами, он подождал, пока поезд тронется, и уже тогда вскочил в него. Тут и начались преступления нашего друга, предусмотренные законом:

«Вскакивание в поезд на ходу».

«Вскакивание в поезд, несмотря на замечание железнодорожного служащего».

«Езда в скором поезде с билетом для обыкновенного пассажирского».

«Отказ доплатить разницу в цене». (Джордж говорит, что он не отказывался, а просто ответил, что у него нет добавочного билета и нет денег, и предложил, вывернув карманы, все, что у него нашлось: около тридцати пфеннигов).

«Проезд в вагоне высшего класса, чем указанный на билете».

«Отказ доплатить за это разницу в цене». (Джордж говорит, что, не имея денег, он согласился перейти в третий класс, – но третьего класса в поезде не было; предложил поместиться в товарном вагоне – но они об этом и слушать не хотели).

«Сиденье на нумерованном месте». (Ненумерованных мест не было вовсе).

«Хожение по коридору». (Трудно сообразить, что ему оставалось делать, когда они не позволяли сидеть даром).

Но объяснений в Германии не допускается, то есть им не придают никакого значения, и путешествие бедного Джорджа от Карлсруэ до Бадена обошлось в конце концов в такую цену, какую, по всей вероятности, не платил еще ни один путешественник.

Легкость, с которой постоянно попадаешь в Германии в какую-нибудь историю, наводит меня на мысль, что это идеальная страна для молодого англичанина: студентам, молодым кандидатам на судебные должности, офицерам запаса армии на половинном жалованье – развернуться в Лондоне очень трудно: для среднего здорового юноши британской крови развлечение тогда только доставляет истинное удовольствие, если оно является нарушением какого-нибудь закона.

То, что не запрещено, не может дать ему полного удовлетворения. Попасть в затруднительное положение, «влететь в историю» для юного англичанина – блаженство; а между тем в Англии это требует большого упорства и настойчивости со стороны любителя приключений.

Я как-то беседовал на эту тему с одним почтенным знакомым, церковным старостой. Мы не без тревоги просматривали с ним 10 ноября³ дневник происшествий: у него есть собственные сыновья, а у меня на попечении находится племянник, который, по мнению любящей матери, пребывает в Лондоне для изучения инженерного искусства. Но знакомых имен среди молодежи, взятой накануне в полицию, не числилось – и мы разговорились об общем легкомыслии и испорченности юношества.

– Удивительно, – заметил мой друг, – как крепко держатся традиции. Когда я был молод, этот вечер тоже обязательно кончался скандалом в ресторане Крайтирион.

– Бессмысленно это! – заметил я.

– И однообразно! Вы не можете себе представить, – говорил он, не сознавая, что по его суровому лицу разливается мечтательное выражение, – как может надоесть хождение по знакомой дороге в полицейский участок. А между тем, что же нам оставалось делать? Положительно ничего! Если мы, бывало, потушим фонарь на улице – придет человек и зажжет его опять; если начнем оскорблять полисмена – он не обращает ни малейшего внимания, как будто не понимает; а если понимает, то ему все равно. Когда находило желание устроить потасовку со швейцаром у подъезда в театр, то это кончалось большею частью его победой и пятью шиллингами отступного с нашей стороны; полное же торжество над ним обходилось в десять шиллингов. Это развлечение не привлекало меня, и я испробовал однажды то, что считалось у нас верхом молодечества: вскочил на козлы кеба, хозяин которого сидел в трактире – на Дин-стрит, – и отъехал, изображая извозчика. На углу первой же площади меня подозвала барыня с тремя детьми, из которых двое ревели, а третий наполовину спал. Прежде чем я успел сообразить, что следует спастись бегством, она всунула малышей в кеб, заплатила мне вперед шиллингом больше, чем следовало (так она сама сказала), и дала адрес, куда вести детвору – на другой конец города. Лошадь оказалась уставшая, и мы плелись битых два часа. Более скучного развлечения я в жизнь мою не испытывал! Два раза отворял я окошечко и принимался уговаривать детей вернуться к маме, но каждый раз младший подымал неистовый рев. Когда я предлагал другим извозчикам взять у меня седоков, они большею частью отвечали словами популярной тогда песни: «Не далеко ли, друг мой, ты зашел?» Один из них предложил передать моей жене все прощальные распоряжения, а другой обещал собрать шайку и освободить меня, когда схватят.

Садясь на козлы, я представлял себе шутку совсем иначе: я думал о том, как завезу какого-нибудь ворчливого старика, отставного военного, миль за шесть от того места, куда ему нужно, в безлюдную местность, и оставлю его на тротуаре браниться. Из этого могло бы выйти развлечение – в зависимости от обстоятельств и от джентльмена, – но мне в голову не приходило, что придется отвозить на конец города беспомощных ребятишек. Да! В Лондоне, – заключил мой друг, – представляется очень мало возможности развлечься на противозаконном основании.

Я советовал бы нашей молодежи, любящей пошуметь, отправляться на время в Германию; не стоит только покупать сразу обратных билетов, так как срок – два месяца, а в этот промежуток времени можно не успеть выпутаться из всех последствий «развлечений».

Здесь запрещается делать многое, что делать очень легко и очень интересно; существуют целые списки запретных поступков, от которых пришел бы в восторг молодой англичанин. Он может начать с самого утра – стоит только вывесить из окна тюфяк: здесь запрещается вывешивать из окон тюфяки. Дома он может вывеситься хоть сам – никому это не мешает, и никто ему не запретит, лишь бы он не разбивал при этом окон и не вредил прохожим. Затем, в Германии запрещается гулять по улицам в таком платье, которое может показаться фантастическим: один мой знакомый шотландец, приехав в Дрезден, провел всю первую неделю в спорах с саксонским правительством из-за своего национального костюма. Его остановили на улице и спросили, что он делает в этом платье. Он отвечал коротко и ясно, что носит его. Они спросили, зачем он его

³ «9 ноября сходятся два торжества: день рождения принца Уэльского и вступление в должность нового лорда-мэра. – Примеч. перев.»

носит. Он отвечал, что для тепла. Они прямо заявили, что не верят, посадили его в карету и отвезли в гостиницу. Понадобилось личное удостоверение английского консула в том, что это действительно национальный шотландский костюм, который носят почтенные, благонадежные люди. Дрезденские власти принуждены были уступить, но вряд ли изменили свое внутреннее убеждение. Когда один англичанин, приехавший в Германию охотиться со знакомыми офицерами, показался верхом в охотничьем костюме у подъезда гостиницы, – его живо забрали в полицию вместе с конем.

В Германии запрещается кормить на улицах лошадей, ослов и мулов – своих, равно как и чужих. Если на вас найдет неудержимое желание покормить чью-нибудь лошадь, вы должны уговориться об этом как следует и явиться в назначенное место; там можете кормить сколько угодно.

Запрещается на улицах и вообще в публичных местах бить стекло и посуду; а если разбили, обязаны подобрать все осколки. Я только не знаю, что полагается с ними делать, так как ни оставлять их, ни выбрасывать нигде не разрешается; остается или носить с собой по гроб жизни, или же съесть – это, вероятно, можно.

Запрещается стрелять на улицах из самострела. Положим, никому не приходит в голову стрелять на улицах из самострела – но немецкие законы написаны не для одних нормальных людей, а также и для сумасшедших. В Германии нет закона только насчет того, что запрещается стоять на голове посреди улицы. Но в ближайшем будущем кто-нибудь из государственных людей, сидя в цирке, живо сформулирует важный, упущенный в законах пункт – и новое правило появится в числе других, аккуратно заключенное в рамку, во всех публичных местах, с указанием штрафа за его нарушение.

Это большое удобство в Германии: здесь каждый вид дурного поведения имеет определенный денежный эквивалент; сотворив какую-нибудь глупость, вам не приходится проводить бессонную ночь, как у нас в Англии, размышляя о том, что с вами за это будет: отделаетесь ли вы предостережением, или придется заплатить сорок шиллингов, или же попадете пред очи правосудия в неудачную минуту и придется отсиживать семь дней ареста. Здесь все оценено заранее: вы можете выложить на стол все наличные деньги, открыть «полицейский регламент» и составить программу целого вечера из развлечений разнообразной стоимости.

Экономным людям я советовал бы начать с гулянья по неуказанной стороне тротуара. Это самое дешевое из запрещенных удовольствий; если выбирать безлюдные улицы, где полицейских мало, то весь вечер такого гулянья обойдется в каких-нибудь три марки.

Запрещается в германских городах ходить по улицам скопом, в особенности после захода солнца. Я не знаю, из скольких человек должна состоять компания для того, чтобы она могла быть названа скопом – и никто не мог дать мне точных объяснений. Я как-то спросил знакомого немецкого офицера, который собирался в театр со своей женой, тещей, пятью детьми, двумя племянницами и сестрой с ее женихом, – не рискует ли он нарушить закон «о хождении скопом». Мой знакомый осмотрел компанию и сказал:

– Видите ли, мы все принадлежим к одному семейству.

– Да, но в параграфе ничего не говорится о «семейных скопах»; там просто сказано: «запрещается ходить скопом». Вы не обижайтесь, но мне, право, кажется, что ваша компания подходит под это название. Я не знаю, как взглянет полиция; я только хотел предупредить вас с своей точки зрения.

Мой знакомый готов был тем не менее посмеяться над такой «точкой зрения», но его жена, не желая рисковать и испортить вечер в самом начале, настояла, чтобы общество разделилось на две партии и сошлось только в вестибюле театра.

Есть еще один заурядный человеческий порок, который в Германии усиленно преследуют; выбрасывание из окна разных вещей. Кошки оправданием не считаются. В начале моего пребывания в Германии я каждую ночь несколько раз просыпался из-за кошачьих концертов; наконец освирепев, я приготовил как-то вечером маленький арсенал: два-три куска каменного угля, несколько твердых груш, пару свечных огарков, яйцо, (вероятно, оно было лишнее, я его нашел на кухонном столе), пустую бутылку от содовой воды и еще несколько предметов в том же роде. Когда пришло время, я открыл окно и начал бомбардировку. Сомневаюсь, чтобы я кого-нибудь ранил; я вообще не знаю ни одного человека, который хоть раз в жизни попал бы в кошку, даже

при дневном свете, — разве только, если целился во что-нибудь другое. Мне случалось видеть известных стрелков, бравших королевские призы на состязаниях, которые без промаха попадают в самое яблочко мишени, в бегущего оленя и т. п.; но пусть бы они лучше попробовали попасть в обыкновенную кошку на расстоянии пятидесяти шагов.

Тем не менее раздражавшее меня кошачье общество разошлось; может быть, им не понравилось яйцо: я и сам заметил, что яйцо не особенно свежее, когда брал его в кухне. Как бы то ни было, но, считая дело оконченным, я лег снова и собрался уснуть.

Через несколько минут грянул отчаянный звонок. Я попробовал оставить его без внимания, но это оказалось невозможным. Пришлось одеть халат и спуститься вниз. У дверей стоял полицейский; он был нагружен всеми теми предметами, которые я метал в котов — кроме яйца.

— Это ваши вещи? — спросил он.

— Они были моими, но теперь я с ними расстался. Кто хочет, может взять их себе. Если вы хотите — пожалуйста!

Он не обратил внимания на мое предложение и продолжал:

— Вы выбросили их из окна?

— Да, выбросил.

— Отчего вы их выбросили из окна?

Немецкий городской твердо знает правила допроса; он никогда не пропустит ничего и спросит все по порядку.

— Оттого, что мне кошки мешали, — отвечал я.

— Какие именно кошки вам мешали?

Постаравшись придать голосу побольше сарказма, я отвечал, что не знаю какие, но прибавил, что если полиция соберет всех местных котов в участок, то я согласен зайти и попробовать узнать их по голосу.

Немецкие городские шуток не понимают — да, впрочем, это и к лучшему, так как шутить с ними здесь запрещается под страхом крупного штрафа; они это называют «непочтительностью к властям».

В данном случае полицейский отвечал, что они не обязаны помогать публике различать кошек, а просто заставят меня уплатить штраф.

Я спросил, что полагается делать в Германии, если нет возможности спать из-за кошек. Он отвечал, что можно подать жалобу на их владельцев, после чего полиция сделает им предупреждение и, если окажется нужным, прикажет уничтожить животных; а когда я спросил, каким образом мне разыскать владельца какой-нибудь кошки, то он, подумав, предложил следовать за ней до места жительства. После этого я замолчал, а то пришлось бы платить слишком много за «непочтительность к властям»; и без того мне эта история обошлась в двенадцать марок. Меня интервьюировали по этому случаю четыре полицейских, и никто из них не усомнился в важности дела.

Однако есть еще более страшное преступление, перед которым все остальные ничтожны: это хождение по траве. Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах в Германии ходить по траве не разрешается; ступить на нее было бы таким же святотатством, как протанцевать матросский танец на молитвенном ковре магометанина. Даже немецкие собаки воспитаны в чувствах глубокого уважения к каждой лужайке, и если вы здесь встретите собачонку, восторженно описывающую круги по траве, то можете быть уверены, что она принадлежит бессовестному иностранцу. В Англии, желая оградить место от собак, его окружают колючей проволоочной сеткой; в Германии же просто ставится доска с надписью: «Хождение запрещается» — и ни один пес с немецкой кровью в жилах не подумает поставить на это место лапу. Я видел в парке старика-немца, садовника, который осторожно шагнул на траву в войлочных туфлях, поднял жука, серьезно опустил его на дорожку и постоял, чтобы убедиться, что тот не вернется на прежнее место. Бедный жук был пристыжен ужасно, поскорее спустился в канавку и повернул на первую же дорожку с надписью: «Ausgang».

Роль каждой дорожки в парках строго определена, и ходить, пренебрегая указаниями, значит рисковать своей свободой и благосостоянием. Есть дороги «для велосипедистов», «для пешеходов», «для верховой езды», «для легких экипажей», «для тяжелых экипажей», «для детей» и «для одиноких дам»; меня поражает, почему нет еще специальных дорожек «для лысых» и «для

потерявших невинность женщин». Это крупное упущение.

В дрезденском Большом саду я встретил однажды даму, стоявшую в полном недоумении на месте схождения семи дорожек; над каждой из них была надпись, строго воспрещавшая проход всем, кроме указанных лиц.

– Мне совестно вас беспокоить, – сказала дама, узнав, что я говорю по-английски и читаю по-немецки, – но не можете ли вы объяснить, кто я и куда обязана идти?

Я осмотрел ее внимательно и, придя к заключению, что она «взрослая» и «пешеход», указал ей соответствующую дорожку. Она посмотрела и пришла в уныние:

– Но мне совсем не туда нужно? Не могу ли я пройти этим путем?

– Боже вас сохрани: это дорожка только для «детей».

– Но я их не обижу! – заметила дама с улыбкой; действительно, трудно было думать, чтобы она могла бы обидеть детей.

– Поверьте, сударыня, – отвечал я, – что я лично смело пустил бы вас по этой дорожке, даже если бы там гулял мой старший сын. Но здесь с законами шутить нельзя; вот ваша дорога – «Для взрослых пешеходов», – и я бы на вашем месте поспешил, потому что стоять и сомневаться тоже не полагается.

– Но, повторяю вам, мне туда вовсе не нужно идти!

– Вот должно быть нужно туда идти! – ответил я, и мы расстались.

На всех скамейках в парке тоже сделаны надписи; немецкий мальчик, чуть-чуть не сев от усталости на скамейку с надписью «Только для взрослых», с ужасом вскакивает, заметив свою ошибку, и осторожно садится на другую, «Для детей», стараясь не запачкать ее грязными сапогами.

Воображаю скамейку с надписью «Только для взрослых» где-нибудь у нас в Риджент-парке! Да все дети на пять миль в окружности сбежали бы, чтобы постоять или посидеть на ней хоть чуточку, и вокруг происходила бы отчаянная свалка из-за очереди. Ни одному «взрослому» не довелось бы отдохнуть на этой скамье никогда, так как он не в состоянии был бы пробиться сквозь толпу детишек.

А в Германии мальчуган покраснеет как рак от стыда, если ошибется, и ему сделают замечание. И нельзя сказать, чтобы здесь о детях не заботились: в определенных местах, на площадях, для них сложены кучи песка, где они могут делать все, что душе угодно; но душа каждого мальчугана зреет здесь на почве такой добропорядочности, что в неуказанном месте – и из частного, а не казенного песка – изготовление пирожков не доставило бы ему никакого удовольствия. Случайно вовлеченный в подобное искушение, он не успокоился бы до тех пор, пока отец не заплатил бы положенного штрафа и не задал бы ему самому трепку.

«Kinderwagen» – детская коляска – тоже занимает в «Уставе общественной благопристойности» целые страницы. Прочтя их, начинаешь думать, что человек, благополучно провезший детскую коляску через весь город, – величайший дипломат; предписывается «не задерживаться» с ней на улицах, но запрещается катить ее скоро; запрещается наталкиваться на прохожих, но если прохожие сами натолкнутся – то полагается «уступать им дорогу». Если вы хотите остановиться с детской коляской, то обязаны прежде отправиться на то место, где позволено останавливаться с ними, – и уже там стойте: кружиться нельзя. Через улицу катить коляску не полагается, и если вы живете на другой стороне, то это ваша собственная вина; конечно, возить ее можно только по указанным местам и оставлять нигде нельзя. Словом, если кому-нибудь из нашей молодежи охота развлечься и попасть в историю – то пусть отправляется по улицам немецкого города с детской коляской; через полчаса он будет сыт по горло.

После десяти часов вечера здесь все двери должны быть на запоре, а после одиннадцати запрещается играть на рояле. В Англии мне никогда не хотелось ни играть самому, ни слушать игру на рояле после одиннадцати часов вечера; но здесь я чувствую полное равнодушие к музыке именно до одиннадцати, а потом с наслаждением слушал бы «Пампу» или «Молитуру деушки»! Мне всегда хочется того, чего нельзя. А для немцев музыка после указанного часа уже не удовольствие, а проступок, тревожащий совесть.

Некоторая свобода предоставлена в Германии только студентам – и то до известной степени; граница этой свободы выработалась постепенно обычаем. Например, студенту разрешается засыпать в пьяном виде на улицах – но не на главных; на следующее утро полицейский доставит

его без всякого штрафа домой – но при том условии, если он свалился с ног в тихом месте; поэтому, чувствуя приближение бессознательного состояния, выпивший студент спешит завернуть за угол, в переулок, и там уже спокойно протягивается вдоль канавки. В некоторых частях города им разрешается звонить для развлечения у подъездов частных домов; квартиры в этих местах более дешевы, и вам необходимо знать тайный, условный способ звона во всех знакомых домах – иначе вы рискуете попасть под ведро воды, вылитой из верхнего этажа.

Позволяется также студентам гасить фонари – штук шесть в ночь; они уже это знают и считают сами; позволено кричать, петь на улицах до половины третьего ночи и позволено в некоторых ресторанах флиртовать с продавщицами; ввиду этого в означенных ресторанах продавщицы выбираются солидного возраста и наружности – для избежания недоразумений.

Да, они большие законники, эти немцы!

ГЛАВА X

Баден-Баден с точки зрения путешественника. – Раннее утро – каким оно представляется накануне. – Расстояние на карте и на практике. – Джордж идет на компромисс со своей совестью. – Велосипеды – на объявлениях. – Велосипедисты – на дороге. – Выводка фениксов. – Самолюбивый пес. – Наказанная лошадь.

О Бадене распространяться не стоит; это обыкновенное курортное место, очень похожее на другие курортные места. Отсюда мы уже по-настоящему собрались выехать на велосипедах и составили себе десятидневный маршрут по Шварцвальду, после чего хотели направиться вниз по долине Дуная – между Тетлинген и Зигмаринген – это самое живописное место в Германии. Здесь Дунай вьется узкой лентой между старинными селениями, не тронутыми суетой мира; огибает древние монастыри, возвышающиеся среди зеленых лугов, где стада овец пасутся под надзором скромных монахов, босых, простоволосых, туго опоясанных простой веревкой. Дальше река мелькает среди дремучих лесов или голых скал, каждая вершина увенчана развалинами крепости, церкви или замка, с которых видны Вогезы. Здесь одна половина населения считает горькой обидой, если с ними заговоришь по-французски; другая – оскорбляется, если обратишься по-немецки, и обе – выражают презрение и негодование при первом звуке английской речи. Такое положение вещей несколько утомляет и затрудняет нервного путешественника.

Мы не совсем точно выполнили программу поездки на велосипедах, потому что дела человеческие всегда более скромны сравнительно с намерениями.

В три часа пополудни легко говорить с искренней уверенностью, что «завтра мы встанем в пять часов, слегка позавтракаем и в шесть уже тронемся с места».

– И будем уже далеко, когда наступит самое жаркое время дня! – говорит один.

– А в это время года утро бывает особенно прелестно, не правда ли? – прибавляет другой.

– О, конечно!

– Свежо, легко дышится!

– И полутона так красивы!

В первое утро намерение исполнено: компания собирается в половине шестого. Все трое в молчаливом настроении, с наклонностью ворчать друг на друга, на пищу – вообще на что-нибудь, лишь бы дать выход затаенному раздражению.

Вечером последнее выливается в сердитом замечании:

– Завтра, я думаю, можно выезжать в половине седьмого; это совсем не поздно!

– Но тогда мы не пройдем наш маршрут! – слабо протестует благонамеренный голос.

– Что ж с того! Человек предполагает, а жизнь располагает. И, кроме того, ведь надо подумать о других: мы поднимаем в гостинице всю прислугу?

– Здесь все встанут рано, – робко продолжает благонамеренный голос.

– Прислуга не вставала бы рано, если бы ее не заставляли! Нет, будем завтракать в половине седьмого; тогда никому не помешаем.

Так человеческая слабость прячется под предлогом доброго отношения к другим; мы спим до шести часов, уверяя совесть – которая, однако, остается при своем мнении, – что это делается из великодушия. Такое великодушие простиралось иногда, сколько мне помнится, до семи часов.

Но не только наше предположение, а и расстояние часто изменяется; на практике оно оказывается совсем не таким, каким должно быть, судя по вычислениям, сделанным астролябией.

– Семь часов – по десяти миль в час, – итого семьдесят миль в день. Пустяки для велосипедиста?

– Кажется, по дороге есть холмы, на которые придется подыматься?

– Где есть подъем, там будет и спуск! – Ну, скажем, восемь миль в час: в день, значит, около шестидесяти. Если мы и на это не способны – то, согласитесь, вместо велосипедов можно было с удобством обзавестись креслами на колесах!

Действительно, рассуждая дома, кажется, что шестьдесят миль в день совсем немного. Но в четыре часа дня, на дороге, благонамеренный голос вынужден напомнить товарищам:

– Господа! Нам бы следовало двигаться. (Он звучит уже не так уверенно, как утром).

– Ну нет! Незачем суетиться. Отсюда прелестный вид, не правда ли?

– Да. Но не забудь, что нам до Блазена осталось двадцать пять миль.

– Сколько?

– Двадцать пять; может быть немножко больше.

– Значит, по-твоему, мы проехали только тридцать пять миль?!

– Да.

– Не может быть! У тебя неверная карта.

– Конечно, не может быть! – прибавляет другой недобродетельный голос. – Ведь мы едем с самого утра.

– То есть с восьми часов. Мы выехали позже, чем хотели.

– В три четверти восьмого!

– Ну, в три четверти восьмого; и несколько раз останавливались.

– Останавливались, чтобы полюбоваться видом. Какой же смысл путешествовать и не видеть страны?

– И, кроме того, сегодня было так жарко, а нам приходилось подыматься по крутым дорогам!

– Я не спорю, я только говорю, что до Блазена осталось двадцать пять миль.

– И еще горы?

– Да. Два раза вверх и вниз.

– А ты говорил, что Блазен находится в долине.

– Да, последние десять миль представляют сплошной спуск.

– А нет ли какого-нибудь местечка между нами и Блазеном? Что это там на берегу озера?

– Это Титзее, совсем не по дороге. Нам бы не следовало так уклоняться.

– Нам вовсе не следует переутомляться – это даже опасно!.. Хорошенькое местечко это Титзее, судя по карте. Там, вероятно, хороший воздух...

– Хорошо, я согласен остановиться в Титзее. Это ведь вы сами решили утром, что мы доедем до Блазена.

– Ну, положим, мне все равно. Что там может быть особенно интересного в Блазене? Какая-то глушь, долина... В Титзее наверное лучше.

– И близко, не правда ли?

– Пять миль отсюда.

Заключение хором:

– Остановимся в Титзее!

В первый же день нашей поездки Джордж сделал важное наблюдение (он ехал на одиночном велосипеде, а мы с Гаррисом впереди, на тандеме).

– Насколько я помню, – сказал он, – Гаррис говорил, что здесь есть фуникулеры, по которым можно подыматься на горы.

– Есть, – отвечал Гаррис, – но не на каждый же холм!

– Я предчувствовал, что не на каждый. – проворчал Джордж.

– И кроме того, – прибавил Гаррис через минуту, – ведь ты сам не согласился бы ездить все время с гор: удовольствие всегда бывает больше, если его заслужишь.

Снова наступило молчание, которое на этот раз прервал Джордж:

– Только вы, господа, не надрывайтесь из-за меня.

– Как это?

– То есть, если будут встречаться фуникулеры, то не отказывайтесь от них из деликатности относительно меня: я готов пользоваться ими, даже если это нарушит стиль нашей поездки. Я уже целую неделю встаю в семь часов и считаю, что это чего-нибудь да стоит. Вообще не думайте обо мне.

Мы обещали не думать, и езда продолжалась в угрюмом молчании, пока его снова не прервал Джордж:

– Ты говорил, что твой велосипед чьей системы?

Гаррис назвал фирму.

– Это точно? Ты помнишь?

– Конечно, помню! Да что такое?

– Ничего особенного. Я только не нахожу в нем полного соответствия с рекламой.

– С какой еще рекламой?

– С рекламой этой фирмы. Я рассматривал в Лондоне перед самым отъездом изображение такого велосипеда: на нем ехал человек со знаменем в руке; он не работал, а просто ехал, наслаждаясь воздухом; велосипед катился сам собой, и дело человека заключалось только в том, чтобы сидеть и наслаждаться. Это было изображено совершенно ясно; а между тем твой велосипед совершенно ничего не делает! Он предоставляет всю работу мне; я должен стараться изо всех сил, чтобы он продвигался вперед. На твоём месте я заявил бы фирме свое неудовольствие.

Джордж был отчасти прав. Действительно, велосипеды редко обладают такими качествами, каких от них можно ожидать, судя по рекламе. Только на одном из рисунков я видел человека, который прилагал усилия к тому, чтобы ехать; но это был исключительный случай: за человеком гнался бык. В обыкновенных же обстоятельствах – как внушают новичкам авторы заманчивых плакатов – велосипедист только и должен, что сидеть на удобном седле и отдаваться неведомой силе, которая быстро несет его туда, куда ему нужно.

В большинстве случаев изображается дама – причем вы наглядно видите, что нигде отдых для ума и тела не может так гармонично сочетаться, как при велосипедной езде, в особенности по горной местности. Вы видите, что дама несется с такой же легкостью, как фея на облаке. Ее костюм для жаркой погоды – идеален. Правда, какая-нибудь старосветская хозяйка маленькой гостиницы, может быть, откажется впустить ее в столовую к общему завтраку, а недогадливый, но усердный полицейский пожалуй изловит ее и начнет закутывать, – но она на это не обращает внимания. С горы и в гору, по дорогам, которые способны изломать паровой каток, среди снующих экипажей, телег и народа – она мчится с ловкостью кошечки, прелестная в своей ленивой мечтательности! Белокурые локоны развеваются по ветру, прелестная фигурка невесомо возвышается на седле, ножки протянуты над передним колесом, одной ручкой она зажигает папиросу, в другой держит китайский фонарик, которым помахивает над головой.

Иногда это бывает простое существо мужского пола. Он не так совершенен, как дама, но сидеть на велосипеде и ничего не делать ему все-таки скучно, поэтому он развлекается разными пустяками: стоит на седле и размахивает флагами, или пьет пиво (иногда вместо пива либиховский бульон), или, въехав на вершину горы, приветствует солнце поэтической речью... Надо же ему что-нибудь делать: ни один человек с живым характером не вынесет безделья.

Случается, что на объявлении изображена пара велосипедистов; и тогда становится очевидным, насколько велосипед удобнее для флирта, чем вышедшая из моды гостиная, или всем приевшаяся садовая калитка: он и она сели на велосипеды – конечно, указанной фирмы, – и больше им не о чем думать, кроме своего сладостного чувства. По тенистым дорогам, по шумным городским площадям в базарный день, они свободно летят на «Самокатах Бермондской компании несравненного тормоза» или на «Великом открытии Камберуэльской компании» – и не нуждаются ни в педалях, ни в путеводителях. Им сказано, в котором часу вернуться домой, они могут разговаривать и видеть друг друга, и больше им ничего не надо. Эдвин, наклонившись, шепчет на ухо Анжелине милые, вечные пустяки, а Анджелина отворачивает головку назад, к горизонту, который у них за спиной, чтобы скрыть горячий румянец. А колеса ровно катятся рядом, солнце светит, дорога чистая и сухая, за молодыми людьми не едут родители, не следит тетка, из-за угла не выглядывает противный братишка, ничто не мешает... Ах, почему еще не было «Великого открытия Камберуэльской компании», когда мы были молоды!..

Объявления добросовестно указывают и на то, что иногда молодые люди сходят на землю и садятся под изящными ветками тенистого дерева, на мягкую, высокую и сухую траву; у их ног журчит ручей, а велосипеды отдыхают после блестящего пробега. Все полно тишины и блаженства.

Впрочем, я ошибся, говоря, что велосипедисты, изображенные на объявлениях, никогда не работают: нет, они работают, и даже с ужасным напряжением сил, покрытые крупными каплями пота, изможденные, – но это их собственная вина: все происходит оттого, что они упорствуют и не хотят ехать, например, на «Путнэйском любимце» или на «Колеснице баттерси» – как торжествующий велосипедист в центре картины, – а плетутся на каких-то жалких уродах.

И почему все эти превосходные, удивительные велосипеды так мало известны? Почему кругом видны только убогие машины, приводящие в уныние?..

Бедный, усталый юноша тоскливо отдыхает на камне у верстового столба; он слишком изнемог, чтобы обращать внимание на упорно льющий дождь... Утомленные девицы, с мокрыми, развившимися волосами, каждую минуту смотрят на часы, боясь опоздать домой и с трудом подавляя желание браниться... А вот запыхавшиеся, лысые джентльмены, ворчащие перед бесконечно длинной дорогой... Солидные дамы с темно-красным цветом лица, стремящиеся покорить противные, ленивые колеса...

Ах, отчего вы все не купили «Великого открытия Камберуэльской компании», господа?

А может быть, велосипеды, как и все на свете, еще далеки до полного совершенства?

Что безусловно очаровывает меня в Германии – так это собаки. У нас, в Англии, все породы так хорошо известны, что начинают надоедать: все те же дворовые псы, овчарки, терьеры белые, черные или косматые, но всегда забияки, – бульдоги; никогда не встретишь ничего нового. Между тем в Германии попадаются такие собаки, каких вы раньше никогда не видали: вы даже не подозреваете, что это собаки, пока они не залают. Очень интересно!

Джордж однажды остановил такую собаку в Зигмаринген, и мы начали ее рассматривать. Она внушала мысль о помеси пуделя с треской; я бы огорчился, если бы мне кто-нибудь мог доказать, что я ошибся в этом случае. Гаррис хотел сделать с нее фотографический снимок – но она влетела на отвесный забор, спрыгнула и исчезла в кустах.

Какая цель у здешних собачников – я не знаю.

Джордж думает, что они хотят вывести феникса. Может быть, он и прав, потому что нам раза два встречались удивительные звери; но мне кажется, что практический немецкий ум не удовольствовался бы фениксами, которые без толку шатались бы по дворам, зря путаясь под ногами; я склонен скорее думать, что они намерены вывести сирень и затем обучить их рыбной ловле.

Ведь немец не любит лени и не поощряет ее. По его мнению, собака – несчастное существо: ей нечего делать! Неудивительно, что она чувствует какую-то неудовлетворенность, стремится к недостижимому и делает глупости. И вот немец дает ей работу, чтобы занять праздную тварь делом.

Здесь каждый пес имеет важный, деловой вид: посмотрите, как он ступает, запряженный в тележку молочника: никакой чиновник не может ступать с большим достоинством! Он, положим, тележки не тащит, но рассуждает так:

– Человек не умеет лаять, а я умею; отлично: пусть он тащит, а я буду лаять.

По его убеждению, это совершенно правильное распределение труда. Но он искренно принимает к сердцу дело, к которому причастен, и даже гордится им. Это приятно видеть. Если навстречу проходит другой пес – более легкомысленный и незанятый никаким делом, – то происходит обыкновенно маленькая пикировка. Начинается с того, что легкомысленный отпускает какое-нибудь остроумное замечание насчет молока. Серьезный пес моментально останавливается, несмотря на огромное движение на улице:

– Извините, пожалуйста, вы, кажется, что-то сказали относительно нашего молока?

– Относительно молока? Нет, ничего... – отвечает шутник. – Я только сказал, что сегодня хорошая погода, и хотел узнать... почему теперь мел.

– А, вы хотели узнать, почему теперь мел? Да?

– Да. Благодарю вас... Я думал, что вы мне можете сообщить.

– Совершенно верно, могу. Мел теперь стоит столько, сколько...

– Ах, двигайся ты, пожалуйста, с места? – перебивает старуха молочница, которой хочется поскорее развести по домам все молоко, так как ей жарко и она очень устала. – Не останавливайся, а то мы никогда не кончим.

– Это все равно! Разве вы не слышали, что он сказал про наше молоко?

– Ах, не обращай внимания!.. Вон конка едет из-за угла, нас тут еще задавят.

– Да, но я не могу не обращать на него внимания: у каждого есть самолюбие?.. Скажите на милость! Ему интересно знать, сколько стоит мел, а?! Так пусть же слушает: мел – стоит – столько – сколько...

– Ты сейчас все молоко перевернешь! – в ужасе кричит бедная старуха, напрасно стараясь справиться с негодующим помощником. – Ах, лучше бы я тебя дома оставила!..

Конка приближается; извозчик кричит; другой серьезный пес, запряженный в тележку с хлебом, приближается рысью, надеясь поспеть на место действия; за ним с криком бежит через улицу хозяйка-девочка; собирается толпа; подходит полицейский.

– Мел – стоит – в двадцать – раз больше, – чем ты будешь стоять, когда я тебя отделаю!.. – отчеканивает наконец серьезный помощник молочницы.

– О! Ты меня отделаешь?!

– Еще бы! Ах ты внук французского пуделя! Сам только капусту ест, а еще...

– Ну вот! Я знала, что ты все опрокинешь! – восклицает бедная женщина. – Я ему говорила, что он все опрокинет!

Но он не обращает внимания; он занят. Через пять минут, когда движение по улице восстановлено, девочка подобрала и вытерла булки, и полицейский удалился, записав имена и адреса всех свидетелей, – он оборачивается и смотрит на тележку.

– Да, я ее немножко перевернул! – признает он слишком очевидный факт, но затем энергично встряхивается и добродушно прибавляет. – Ну, зато я объяснил ему, «сколько теперь стоит мел»! Больше он к нам не пристанет.

– Надеюсь, что не пристанет! – уныло замечает женщина, глядя на облитую молоком мостовую.

Но главное развлечение трудящегося, запряженного пса заключается в том, что он не позволяет другим собакам перегонять себя – в особенности с горы. В этих случаях хозяину или хозяйке остается бежать за ним, подымая по дороге вываливающиеся из тележки предметы: капусту, булки или крахмальные сорочки, что случится.

Под горой верный пес останавливается и, запыхавшись, ждет хозяина. Тот подходит, нагруженный товаром до подбородка.

– Хорошо сбежал, не правда ли? – спрашивает пес, высунув язык и улыбаясь от удовольствия. – Если бы не подвернулся под ноги какой-то карапуз, я бы, наверное, прибежал первым. Такая досада, что я его не заметил!.. И чего он теперь орет?.. Что? Оттого, что я его свалил с ног и переехал? Так почему же он не убрался с дороги?.. Удивительно, как у людей дети валяются где попало! Понятно, их всякий топчет. Это что?!.. Столько вещей вывалилось? Ну, не важно же они были уложены. Я думал, вы аккуратнее... Что? Вы не ожидали, что я помчусь с горы как сумасшедший? Так неужели вы думали, что я хладнокровно позволю Шнейдеровской собаке перегнать себя? Вы могли бы, кажется, узнать меня лучше!.. Ну, да вы никогда не думаете: это уж известное дело. Все собрали? Вы думаете, что все? – На вашем месте я бы не думал, а пошел до самого верха, чтобы убедиться. Что? Вы устали? Ну, в таком случае не обвиняйте меня, вот и все.

Упрям он ужасно: если он думает, что надо свернуть направо во второй переулок, а не в третий, то никто не заставит его дойти до третьего; если он вообразит, что успеет перевести тележку через улицу, то потащит, и только тогда обернется, когда услышит, что ее раздавили у него за спиной; правда, в таких случаях он признает себя виновным, но в этом мало пользы. По силе и росту он обыкновенно равен молодому быку, а хозяевами его бывают слабые старики и старухи, или дети. И он делает то, что сам находит нужным. Самое большое наказание для него – оставить его дома и везти тележку самому; но немцы слишком добрый народ, чтобы делать это часто.

Зачем в Германии запрягают собак – решительно непонятно; я думаю, что только с целью доставить им удовольствие. В Бельгии, Голландии и Франции я видел, как их действительно за-

ставляют тащить тяжелую поклажу и еще бьют; но в Германии – никогда! Бить животное – здесь вообще неслыханное дело: им только читают нравоучения. Я видел, как один мужик бранил, бранил, бранил свою лошадь, потом вызвал из дома жену, рассказал ей, в чем лошадь провинилась – да еще преувеличил вину, – и они оба, став по бокам лошади, еще долго нещадно пилили ее; лошадь терпеливо слушала, но, наконец, не вытерпела и тронулась с места. Тогда хозяйка вернулась к стирке белья, а хозяин пошел рядом с конем, продолжая читать нравоучения.

Здесь щелканье бича раздается по всей стране с утра до вечера, но животных им не трогают.

В Дрездене на моих глазах толпа чуть не разорвала извозчика-итальянца, начавшего бить свою лошадь.

Более добросердечного народа, чем немцы, не может быть – да и не нужно!

ГЛАВА XI

Домик в Шварцвальде. – Его «общительность». – Его атмосфера. – Джордж не хочет спать. – Дорога, на которой нельзя заблудиться. – Мой особенный природный инстинкт. – Неблагодарность товарищей. – Гаррис и наука. – План Джорджа. – Мы катаемся. – Немецкий кушер. – Человек, который распространяет английский язык по всему миру.

Оказавшись как-то вечером в пустынной местности, слишком утомленные, чтобы плестись до города или деревни, мы остановились ночевать в одинокой крестьянской хижине. Большое очарование здешних горных домиков заключается в своеобразном общежитии: коровы помещаются в соседней комнате, лошади – над вами, гуси и утки – в кухне, а свиньи, цыплята и дети – по всему дому.

Просыпаясь, вы слышите хрюканье и оборачиваетесь.

– Здравствуйте! Нет ли у вас здесь картофельных очистков? Нет, что-то не видно. Прощайте.

Вслед за этим, из-за притолки вытягивается шея старой курицы; заглядывая в комнату и кудаятая, она любезно спрашивает:

– Прелестное утро, не правда ли? Надеюсь, я вам не помешаю, если зайду сюда позавтракать? Я принесла червячка с собой, а то в целом доме не найти покойного местечка; поесть не дадут с удовольствием... Я с детства привыкла кушать не торопясь, и теперь, когда вывела дюжину цыплят – не успеваю проглотить ни кусочка, они все растащут!.. Ведь ничего, если я помещусь у вас на кровати? Здесь они меня, может быть, не найдут.

Пока вы одеваетесь, в дверях то и дело появляются всклокоченные детские головы; вы не можете разобрать, к какому полу принадлежат любопытствующие фигурки, но надеетесь, что к мужскому. Захлопывать дверь не имеет смысла, потому что замка в ней вовсе нет, и каждый раз она снова торжественно отворяется, не успеете вы отойти на несколько шагов. Очевидно, вы с товарищами представляете исключительный интерес, вроде странствующего зверинца.

Завтракая, вы невольно сравниваете себя с блудным сыном: на полу поместилась пара свиней, у порога топчется компания гусей, оглядывая вас с ног до головы и ехидно критикуя свистящим шепотом; иногда в окошко заглянет корова.

Это сходство с порядками Ноева ковчега служит, вероятно, причиной того особенного запаха, которым отличаются хижины в Шварцвальде: если вы возьмете розы и лимбургский сыр, прибавите туда немного помады, вереска, луку, персиков, мыльной воды – и смешаете все это с запахом моря и нескольких трупов – то получите нечто подобное; различить нельзя ничего, но здесь чувствуется все, что есть на свете. Горные жители любят такой воздух; они не проветривают своих домиков и нарочно берегут в них эту «хозяйственную» атмосферу. Если вам хочется подышать запахом хвойного леса или фиалок – для этого можно выйти за порог дома; но говорят, что подобные поэтические фантазии скоро проходят и заменяются искренней привязанностью к домашнему уюту.

Так как мы собирались на следующий день пройти большой путь пешком, то с вечера решили встать как можно раньше – даже в шесть часов, если никому не помешаем. Мы спросили хозяйку, нельзя ли это устроить. Она отвечала, что можно: сама она разбудить нас не обещает –

так как в этот день обыкновенно отправляется в город, миль за восемь, – но кто-нибудь из сыновей уже вернется завтракать, так что услужит и нам.

Но будить нас не пришлось: мы сами не только проснулись, но и даже встали в четыре часа – не исключая Джорджа. Мы не могли больше спать. Я не знаю, в котором часу встает шварцвальдский крестьянин в летнее время: нам казалось, что семья наших хозяев вставала всю ночь. Начинается с грохота грубых сапожищ на деревянной подошве: это сам глава семьи обходит весь дом, чтобы окинуть его хозяйским оком; пройдясь раза три вверх и вниз по лестнице – домик лепится к склону горы – и, проснувшись как следует, он отправляется на верхний этаж будить лошадей. Оказывается, что последние тоже обязаны пройтись по всему дому, прежде чем выйти на воздух. Затем хозяин идет вниз, в кухню и принимается рубить дрова; наколов изрядное количество, он приходит в хорошее настроение – и начинает петь. Тут поневоле придешь к заключению, что пора вставать.

Наскоро позавтракав в половине пятого, мы сейчас же вышли и отправились в путь. Нам нужно было перевалить через гору; судя по сведениям, добытым в ближайшей деревушке, заблудиться было невозможно. Бывают такие дороги: они всегда приводят к тому месту, откуда вы вышли; и еще хорошо, если приводят, – тогда, по крайней мере знаешь где находишься.

Я предчувствовал неудачу с самого начала. Не прошли мы и двух миль, как дорога разделилась на три ветви. Изъеденный червями столб указывал, что одна из ветвей вела к месту, о котором мы никогда не слыхали и ни на какой карте не видали; средняя надпись отвалилась совершенно и исчезла без следа; третья несомненно относилась к той дороге, по которой мы шли.

– Старик объяснил очень ясно, – напомнил нам Гаррис, – что надо держаться все время вправо и обходить гору.

– Какую гору? – капризно спросил Джордж. Перед нами их действительно было штук шесть разной величины.

– Он говорил, что мы придем к ней по лесу.

– В этом я не сомневаюсь! – опять сострил Джордж. (Примета была слабая, спорить нельзя: все горы кругом поросли лесом).

– И он сказал, – пробормотал Гаррис уже не так уверенно, – что мы дойдем до вершины через полтора часа.

– Вот в этом я очень сомневаюсь!

– Что же нам делать? – спросил Гаррис. Надо сказать, что я очень легко ориентируюсь. Это не Бог весть какое достоинство, и хвастаться тут нечем; но у меня, право, есть какой-то инстинкт, чутье узнавать местность. Конечно, не моя вина, если по дороге встречаются горы, реки, пропасти и тому подобные препятствия.

Я повел их по средней дороге. В том, что она не могла выдержать ни одной четверти мили по прямому направлению и через три мили вдруг уперлась в осиное гнездо – никто меня упрекнуть не может; если бы она вела куда следует, то и мы бы пришли куда следует; это ясно, как Божий день.

Даже несмотря на осиное гнездо, я не отказал бы товарищам в возможности и дальше эксплуатировать мой талант, – но ведь мог я рассчитывать хотя бы на каплю благодарности! Я не ангел, признаюсь откровенно, и не люблю трудиться на пользу людей, которые не выказывают ничего, кроме холодности и грубости. Кроме того, Гаррис и Джордж, вероятно, отказались бы следовать за мной дальше. Поэтому я умыл руки и предоставил Гаррису занять место вожака.

– Ну, – спросил он, – доволен ли ты собой?

– Совершенно! – отвечал я с груды камней, на которой сидел. – Сюда я довел вас целыми и невредимыми. Я повел бы вас и дальше, но каждому художнику необходимо сочувствие толпы! Вы, очевидно, не довольны тем, что не знаете, где находитесь; но, может быть, вы находитесь именно там, где нужно! Впрочем, я молчу; я не жду благодарности. Идите куда хотите, я вмешиваться не стану.

В моих словах действительно было много горечи – но ведь я не слыхал еще ни одного ободряющего слова.

– Послушай, между нами не должно быть недоразумений, – заметил Гаррис, – Джордж и я признаем покорно и искренно, что без твоей помощи мы никогда не забрались бы в эти дебри! Поверь, мы отдаем тебе полную справедливость. Но, видишь ли, чутье иногда подводит. Я пред-

лагаю положиться на науку: где теперь солнце?

– А не лучше ли, – неожиданно заметил Джордж, – вернуться в деревню и положиться на мальчишку-проводника? Мы сберегли бы таким образом время.

– Мы только потеряли бы его! – решительно заявил Гаррис. – Оставь, пожалуйста. Не вмешивайся и не беспокойся. Это очень интересный способ, я о нем много читал.

Он вынул из кармана часы и начал кружиться с ними как юла.

– Ничего не может быть легче, – продолжал он, – надо направить часовую стрелку на солнце, потом взять угол между ею и цифрой двенадцать, разделить его пополам – и секущая укажет на север! Очень просто.

Он повертелся еще минуты две и, наконец, решительно протянул руку к осиному гнезду:

– Вот, вот север! Теперь дайте мне карту.

Мы подали. Не оборачиваясь больше, он уселся на землю и начал рассматривать карту, потом объявил:

– Тодтмос находится на юго-юго-запад отсюда.

– Откуда «отсюда»? – спросил Джордж.

– Да вот с этого места, где мы сидим.

– А где мы сидим? – поинтересовался Джордж. Гаррис было опешил, но скоро просиял:

– Да не все ли равно, где мы сидим?! Идем на юго-юго-запад, вот и все! Как это ты не понял? Тут и разговаривать нечего, только время теряем!

– Положим, я не совсем понял, – заметил Джордж, вставая и одевая на плечи ранец, – но это, конечно, все равно – мы здесь находимся ради свежего воздуха и красоты пейзажа, а всего этого сколько угодно.

– Да, да! – весело поддержал его Гаррис. – Ты не беспокойся, к десяти часам мы будем в Тодтмосе и отлично позавтракаем. Я не откажусь от бифштекса и омлета.

Но Джордж предпочитал не думать о еде, пока не увидит крыш Тодтмоса.

Через полчаса ходьбы в просвете между деревьями мы увидели ту деревню, через которую проходили рано утром; ее легко было узнать по оригинальной колокольне, с обвивавшей ее наружной лестницей.

Я рассердился. Три с половиной часа мы бродили, а отошли всего на четыре мили! Но Гаррис пришел в восторг.

– Ну, теперь мы знаем, где находимся!

– А ты, кажется, говорил, что это все равно, – напомнил ему Джордж.

– Для дела, конечно, все равно, но все-таки приятнее, если знаешь. Теперь я более уверен в себе.

– Приятнее, положим... – пробормотал Джордж. – Но пользы от этого мало.

Гаррис не слышал замечания друга.

– Теперь, – продолжал он, – мы находимся на востоке от солнца; а Тодтмос находится на юго-западе от нас. Так что... – Он остановился. – Кстати, ты не помнишь ли, Джордж, куда указывала секущая, на север или на юг?

– Ты говорил, что на север.

– Это точно!

– Наверняка. Но не смущайся: по всей вероятности, ты тогда ошибся.

Гаррис подумал, и его взгляд прояснился.

– Отлично! Конечно, на север. Как же она могла указывать на юг?! Непременно на север! Ну, теперь мы пойдем на запад. Вперед!

– Ладно, – отвечал Джордж. – На запад так на запад. Я хотел только сказать, что теперь мы идем на восток.

– Что ты! Конечно, на запад!

– Нет, на восток.

– Ты бы лучше не повторял! Ты меня только смущаешь.

– Лучше смущать, чем идти в неверную сторону. Я тебе говорю, что мы идем прямехонько на восток.

– Какие глупости! Ведь солнце – вот где!

– Я солнце вижу даже очень ясно; может быть, по твоей науке оно и стоит там, где должно

стоять; но я сужу не по солнцу, а по этой горе со скалистой верхушкой: она находится на севере от деревни, из которой мы вышли: значит, перед нами теперь восток.

– Правда. Я и забыл, что мы повернули.

– Я бы на твоём месте записывал, – проворчал Джордж.

Мы повернули – и зашагали в противоположном направлении. Дорога шла в гору. Минут через сорок мы добрались до высокой открытой площадки... Деревня опять лежала прямо перед нами, внизу.

– Удивительно! – проговорил Гаррис.

– А я не вижу ничего удивительного, – возразил Джордж. – Если кружиться все время вокруг одной и той же деревни, то, понятное дело, она иногда мелькнет за деревьями. Я даже рад ее видеть: это доказывает, что мы не заблудились окончательно.

– Да ведь она должна быть у нас за спиной, а не перед носом!

– Подожди, очутится скоро и за спиной, если мы будем твердо держаться прежнего направления.

Я все время молчал, предоставляя им разговаривать между собой; но мне приятно было видеть, что Джордж начал сердиться: Гаррис действительно сглупил со своим «научным способом».

Он задумался.

– Хотел бы я знать, – проговорил он наконец, – на север или на юг указывала та секущая?..

– А тебе пора бы решить этот вопрос, – заметил Джордж.

– Знаешь что?! Она не могла указывать на север – и я тебе сейчас объясню почему!

– Можешь не объяснять! Я и так готов поверить.

– А ты недавно говорил, что она указывала на север.

– Неправда, я сказал, что ты говорил, а это большая разница. Если хочешь, пойдем в другую сторону – во всяком случае, хоть какое-то разнообразие.

Тогда Гаррис вычислил все сначала – только наоборот, – и мы снова нырнули в густой лес. И опять, через полчаса головокружительного лазания по скалам мы очутились над той же деревней, на этот раз немного повыше; она находилась между нами и солнцем.

– Мне кажется, – сказал Джордж, полюбовавшись картиной, – что с любой точки зрения эта деревня самая красивая. Теперь мы можем спокойно спуститься к ней и отдохнуть.

– Невероятно, чтобы это была та же деревня! – воскликнул Гаррис. – Не может быть!

– Напротив: невероятно, чтобы нашлась совершенно такая же другая деревня, с такой же колокольной и такой же лестницей. Во всяком случае, решай: куда нам теперь идти?

– Я не знаю. Мне все равно! – отвечал Гаррис. – Я честно старался, а ты только ворчал и смущал меня все время.

– Может быть, я действительно отнесся к тебе слишком строго, – признал Джордж, – но взгляни на дело с моей точки зрения: один из вас говорит, что обладает каким-то безошибочным инстинктом – и приводит в чашу леса, прямо к осиному гнезду.

– Я не виноват, что осы устраивают гнезда в чаще леса, – перебил я.

– Я в этом тебя не виню и вовсе не спорю; я только излагаю факты. Другой – водит меня вверх и вниз по горам в продолжение нескольких часов «на научном основании», не зная где юг, где север, и не помня, поворачивал он направо или не поворачивал!.. У меня нет ни сверхъестественных инстинктов, ни глубоких научных познаний; но я вижу отсюда человека, который собирает в поле сено: я пойду и предложу ему плату за весь стог – вероятно, марки полторы, не больше – за то, чтобы он бросил работу и довел меня до Тодтмоса. Если вы хотите следовать за мной, можете; если же намерены делать еще какие-нибудь опыты, то тоже можете, но только без меня.

План Джорджа был не блестящий и не оригинальный, но в ту минуту показался нам привлекательным. К счастью, мы недалеко отошли от дороги в Тодтмос и с помощью косаря прибыли туда благополучно четырьмя часами позже, чем предполагали накануне. Для того, чтобы удовлетворить аппетит, нам понадобилось сорок пять минут молчаливой работы.

У нас было решено пройти от Тодтмоса к Теину пешком; но после утомительного утреннего похода мы предпочли нанять экипаж и прокатиться. Экипаж был живописный; лошадь можно было бы назвать бочкообразной, но в сравнении с кучером она была совсем угловатая. Здесь все

экипажи делаются на две лошади, но впрягается обыкновенно одна; вид получается довольно неуклюжий, но зато такой, как будто вы всегда ездите на паре лошадей и только в этот раз случайно выехали на одной. Лошади здесь очень опытные и развитые; кучера большею частью спокойно спят на козлах, и если бы можно было отдавать лошадям деньги, то никаких кучеров не требовалось бы вовсе. Когда последние не спят и звучно щелкают бичом – я не чувствую себя в безопасности. Однажды мы катались в Шварцвальде с двумя дамами; дорога вилась, как пробочник по крутому склону горы; откосы приходились под углом в семьдесят градусов к горизонту. Мы ехали вниз тихо и спокойно, видя с удовольствием, что возница спит, а лошади уверенно спускаются по знакомой дороге. Вдруг его что-то разбудило – недомогание или тревожный сон: он схватился за возжи и быстрым движением направил лошадь, приходившуюся с наружной стороны, к самому краю дороги; дальше идти ей было некуда, и она сползла вниз, повисши на вожжах и постромках. Возница ничуть не удивился, лошади нисколько не испугались. Мы вышли из экипажа, кучер вытащил из-под сиденья большой складной нож, очевидно предназначенный для этой цели, и спокойно, не колеблясь, перерезал постромки. Освобожденная лошадь скатилась на пятьдесят футов вниз, до следующего поворота дороги, и встала на ноги, ожидая нас. Мы сели снова и доехали до того места на одном коне; а там возница запряг ожидавшую лошадь, использовав несколько кусков веревки, и катанье продолжалось. Интереснее всего было полнейшее спокойствие всех троих – кучера и обеих коней; видимо, они так привыкли к подобному сокращению пути, что я не удивился бы, если б он нам предложил скатиться целиком со всем экипажем.

Меня поражает еще одна особенность немецких кучеров; они никогда не натягивают и не отпускают вожжей. У них для регулирования езды есть тормоз – а скорость хода лошади их не касается. Для езды по восьми миль в час – возница закручивает ручку тормоза не много, так что он только слегка исцарапывает колесо, производя звук словно пилу оттачивают; для четырех миль в час – он закручивает сильнее, и вы едете под аккомпанимент жутких криков и стонов, напоминающих хор недорезанных свиней. Желая остановиться совсем, кучер закручивает ручку тормоза до упора – и он останавливает лошадей раньше, чем они пробегут расстояние, равное длине своего корпуса. То, что можно остановиться иным, более естественным способом, очевидно не приходит в голову ни кучеру, ни самим лошадям; они добросовестно тянут изо всей силы до тех пор, пока не могут сдвинуть экипаж ни на полдюйма дальше; тогда они останавливаются. В других странах лошади могут ходить даже шагом; но здесь они обязаны стараться и бежать рысью; остальное их не касается. На моих глазах один немец бросил вожжи и принялся усиленно закручивать тормоз обеими руками – боясь, что не успеет разминуться с другим экипажем. Я нисколько не преувеличиваю.

В Вальдсгете – одном из маленьких городков шестнадцатого столетия, расположенном в верховьях Рейна, мы встретили довольно обыкновенное на континенте существо: путешествующего британца, удивленного и раздраженного тем, что иностранцы не могут говорить с ним по-английски. Когда мы пришли на станцию, он объяснял носильщику в десятый раз «самую обыкновенную» вещь, а именно: что хотя у него билет куплен в Донаушинген, и он хочет ехать в Донаушинген посмотреть на истоки Дуная (которых там нет: они существуют только в рассказах), – но желает, чтобы его велосипед был отправлен прямо в Энген, а багаж в Констанц. Все это было по его мнению так просто! А между тем носильщик, молодой человек, казавшийся в эту минуту старым и несчастным, довел его до белого каления тем, что ничего не мог понять. Джентльмену стало даже жарко от чрезмерных усилий втолковать носильщику суть дела.

Я предложил свои услуги, но скоро пожалел: соотечественник ухватился за предложенную помощь слишком ревностно. Носильщик объяснил нам, что пути очень сложны – требуют многих пересадок; надо было узнать все обстоятельно, а между тем наш поезд трогался через несколько минут. Как всегда бывает в тех случаях, когда времени мало и надо что-нибудь разъяснить, джентльмен говорил втрое больше, чем нужно. Носильщик, очевидно, изнемогал в ожидании освобождения.

Через некоторое время, сидя в поезде, я сообразил одну вещь: хотя я согласился с носильщиком, что велосипед джентльмена лучше отправить на Иммендинген – как и сделали – но совершенно забыл дать указание, куда его отправить дальше, из Иммендингена. Будь я человек впечатлительный, я бы долго страдал от угрызений совести, так как злополучный велосипед, по

всей вероятности, пребывает в Иммендингене до сих пор. Но я придерживаюсь оптимистической философии и стараюсь видеть во всем лучшую, а не худшую сторону; быть может, носильщик догадался сам исправить мое упущение, а может быть, случилось простенькое чудо, и велосипед каким-нибудь образом попал в руки хозяина до окончания его путешествия. На багаж мы наклеили ярлык с надписью «Констанц», а отправили его в Радольфцель – как нужно было по маршруту; я надеюсь, что когда он полежит в Радольфцеле, его догадаются отправить в Констанц.

Но эти частности не изменяют сути случая: трогательность его заключалась в искреннем негодовании британца, который нашел немецкого носильщика, не понимающего по-английски. Лишь только мы обратились к соотечественнику, он высказал свои возмущенные чувства, несколько не стесняясь:

– Я вам очень благодарен, господа: такая простая вещь – а он ничего не понимает! Я хочу доехать в Донаушинген, оттуда пройти пешком в Гейзинген, опять по железной дороге в Энген, а из Энгена на велосипеде в Констанц. Но брать с собой багаж я не желаю, я хочу найти его уже доставленным в Констанц. И вот целых десять минут объясняю этому дураку – а он ничего не понимает!

– Да, это непростительно, – согласился я, – некоторые немецкие рабочие почти не знают иностранных языков.

– Уж я толковал ему и по расписанию поездов, и жестами, – продолжал джентльмен, – и все напрасно!

– Даже невероятно, – заметил я, – казалось бы, все понятно само собой, не правда ли?

Гаррис рассердился. Он хотел сказать этому человеку, что глупо путешествовать в глубине чужой страны по разным замысловатым маршрутам, не зная ни слова ни на каком другом языке, кроме своего собственного. Но я удержал его: я указал на то, как этот человек бессознательно содействует важному, полезному делу: Шекспир и Мильтон вложили в него частицу своего труда, распространяя знакомство с английским языком в Европе; Ньютон и Дарвин сделали его изучение необходимым для образованных и ученых иностранцев; Диккенс и Уида помогли еще больше – хотя насчет последней мои соотечественники усомнятся, не зная того, что ее столько же читают в Европе, сколько смеются над ней дома. Но человек, который распространил английский язык от мыса Винцента до Уральских гор, – это заурядный англичанин, не способный к изучению языков, не желающий запоминать ни одного чужого слова и смело отправляющийся с кошельком в руке в какие угодно захолустья чужих земель. Его невежество может возмущать, его тупость скучна, его самоуверенность сердит, – но факт остается фактом: это он, именно он англизирует Европу. Для него швейцарский крестьянин идет по снегу в зимний вечер в английскую школу, открытую в каждой деревне; для него извозчик и кондуктор, горничная и прачка сидят над английскими учебниками и сборниками разговорных фраз; для него континентальные купцы посылают своих детей воспитываться в Англию; для него хозяева ресторанов и гостиниц, набирая состав прислуги, прибавляют к объявлению слова: «Обращаться могут только знающие английский язык».

Если бы английский народ признал чей-нибудь язык, кроме своего, то триумфальное шествие последнего прекратилось бы. Англичанин стоит среди иностранцев и позвякивает золотом: «Вот, – говорит он, – плата всем, кто умеет говорить по-английски!» Он великий учитель. Теоретически мы можем бранить его, но на деле должны снять пред ним шапку – он проповедник нашего родного языка!

ГЛАВА XII

Мы огорчены низменными инстинктами немцев. – Великолепный вид. – Мнение континентальных жителей об англичанах. – Унылый путник с кирпичом. – Погоня за собакой. – Неудобный для жизни город. – Обилие фруктов. – Веселый человек. – Джордж находит, что поздно, и удаляется. – Гаррис следует за ним, чтобы показать ему дорогу. – Я не хочу оставаться один и следую за ними. – Выговор, предназначенный для иностранцев.

Что возмущает чувствительную душу интеллигентного англичанина – так это практический, но пошлый обычай немцев устраивать рестораны в самых поэтических уголках; они не мо-

гут видеть сказочной долины, одинокой дорожки или шумящего водопада, чтобы не поставить там домика с надписью: «УИГЪксЪа. П»; у них это инстинктивная потребность. А между тем разве высокие восторги могут вылиться во вдохновенную песнь над липким от пива столиком? Разве мыслимо внимать отголоскам старины, когда тут же вас одолевает запах жареной телятины и шпинатного соуса?

Как-то мы подымались на гору сквозь чашу густого леса и философствовали.

– А наверху, – заключил Гаррис глубокую мысль, – окажется разукрашенный ресторан, где публика бесстыдно уплетает жареные бифштексы, фруктовые пироги и хлещет белое вино!

– Ты думаешь? – спросил Джордж.

– Конечно. Разве ты не знаешь их привычек! Ведь здесь ни одной рощицы не оставят для тихого созерцания, для одиночества; настоящий ценитель природы не может насладиться ею ни на одной вершине – все они осквернены угождением грубым человеческим слабостям?

– По моим расчетам, мы должны дойти туда в три четверти первого, если не станем терять времени, – заметил я.

– Да и противный табльдот будет уже готов! – проворчал Гаррис. – Здесь, вероятно, подадут к столу местную форель из горных речек... В Германии от еды и питья никуда не уйдешь. Даже злость берет!

Мы продолжали путь, и благодаря окружающей красоте на время забыли возмущавшее нас обстоятельство. Я высчитал верно: в три четверти первого. Гаррис, шедший впереди, сказал:

– Вот и добрались! Я вижу вершину.

– И ресторан? – спросил Джордж.

– Пока нет, но он, конечно, на месте, провалился он совсем!

Через пять минут выше идти было некуда, мы стояли на вершине горы. Поглядели на север, на юг, на восток и на запад, потом посмотрели друг на друга.

– Величественный вид! Не правда ли? – сказал Гаррис.

– Великолепный, – согласился я.

– Восхитительный, – заметил Джордж.

– И они хорошо сделали, – продолжал Гаррис, – что догадались убрать с глаз ресторан.

– Они его, кажется, спрятали.

– Это разумно – когда вещь не мозолит глаз, она перестает раздражать.

– Конечно, – заметил я, – ресторан на надлежащем месте никому не мешает.

– Хотел бы я знать, куда они его дели? – спросил Джордж.

Лицо Гарриса вдруг озарилось вдохновением.

– А что, если мы поищем?!

Вдохновение было натуральное, оно увлекло даже меня. Мы условились, что отправимся на поиски в разные стороны и снова сойдемся на вершине.

Через полчаса мы уже стояли друг перед другом. Слов не нужно было: лица показывали ясно, что наконец нашлось в Германии прекрасное место, не оскверненное грубым употреблением пищи и питья!

– Я бы этому никогда не поверил, – вымолвил Гаррис, – а ты?

– Кажется, это единственная квадратная миля в Германии без ресторана, – отвечал я.

– И не странно ли, что мы – путешественники, иностранцы – открыли такое место! – сказал Джордж.

– Действительно, – заметил я, – это удачный случай: теперь мы можем удовлетворить возвышенное стремление к прекрасному, не оскорбляя его искушением низменных инстинктов. Обратите внимание на освещение этих гор вдаль – восхитительно, не правда ли?

– Кстати, – перебил меня Джордж, – не можешь ли ты сказать, какой отсюда кратчайший путь вниз?

Я посмотрел в путеводитель и отвечал:

– Дорога налево приводит в Зонненштейг. Между прочим, там рекомендуется «Золотой Орел»; ходьбы туда два часа. Дорога направо длиннее, но зато «представляет прекрасную точку обзора окружающей местности».

– По моему мнению, – заметил Гаррис, – красивая местность со всех точек обзора одинаково хороша? Вы не согласны с этим?

– Я лично, – отвечал Джордж, – иду налево. Мы последовали за ним.

Но спуститься скоро не удалось. В этих краях грозы собираются совершенно неожиданно, и раньше чем через четверть часа нам пришлось выбирать одно из двух: или искать убежища, или промокнуть до костей. Мы решились на первое и выбрали дерево, которое при обыкновенных обстоятельствах было бы вполне надежным убежищем. Но гроза в Шварцвальде – не совсем обыкновенное обстоятельство. Сначала мы утешали друг друга тем, что скоро нам нечего будет бояться промокнуть еще больше...

– При подобных условиях, – сказал Гаррис, – я был бы почти рад, если бы здесь оказался ресторан.

– Через пять минут я иду вниз, – объявил Джордж, – так как, промокнув, считаю излишним еще и голодать в придачу.

– Эти пустынные горные местности, – заметил я, – более привлекательны в хорошую погоду; а во время дождя, в особенности когда человек достиг того возраста, в котором...

В эту секунду нас окликнули. В пятидесяти шагах вдруг появился откуда-то толстый господин под огромным зонтиком; он вопросительно смотрел на нас.

– Вы не войдете внутрь?

– Внутрь чего? – переспросил я, думая, что это один из тех идиотов, которые стараются острить, когда нет ничего смешного.

– Внутрь ресторана, – отвечал толстый господин. Мы оставили наше убежище и подошли.

– Я звал вас из окна, – продолжал он, – но вы, вероятно, не слышали. Гроза, может быть, не кончится раньше чем через час. Вы бы ужасно промокли! – Почтенный и любезный толстяк волновался за нас.

– С вашей стороны было очень любезно выйти, – отвечал я. – Мы не сумасшедшие и не стояли бы здесь целых полчаса, если бы знали, что в нескольких шагах есть ресторан. Мы не подозревали о его существовании.

– Я так и думал, – заметил почтенный господин, – потому и пошел за вами.

Оказалось, что все сидевшие в ресторане смотрели на нас из окон и удивлялись, зачем мы там стоим с самым несчастным видом. Они бы, пожалуй, любовались нами до вечера, если бы не любезность толстого господина.

Хозяин ресторана оправдывался тем, что принял нас за англичан: на континенте все искренно убеждены, что каждый англичанин – помешанный; это мнение так же укоренилось, как мнение наших крестьян о французах – они думают, что каждый француз питается лягушками. И такое убеждение поколебать очень трудно.

Ресторанчик был отличный, с хорошей едой и очень порядочным столовым вином. Мы просидели в нем часа два, высыхая, угощаясь и беседуя о красоте природы; и как раз перед тем, как собрались уходить, произошел маленький случай, доказавший, что зло производит в этом мире гораздо больше последствий, чем добро.

В столовую поспешно и взволнованно вошел новый посетитель. Вид у него был уставший, истощенный. Он нес в руке кирпич, с привязанной к нему веревкой. Войдя, он быстро прихлопнул за собой дверь, запер ее на задвижку и прежде всего долго и пристально поглядел в окно. Потом вздохнул с облегчением, сел, положил подле себя на скамейку кирпич и спросил еды и питья.

Во всем этом было что-то таинственное. Казалось странным, зачем он запер дверь, что будет делать с кирпичом, почему так взволнованно смотрел в окно. Но измученный вид незнакомца удерживал от вопросов и желания вступить с ним в беседу.

Постепенно он успокоился, закусил, перестал ежеминутно вздыхать, вытянул на скамье ноги, закурил гадкую сигару и, видимо, отдыхал.

Тогда это и случилось. Все произошло слишком неожиданно, чтобы можно было заметить подробности. Я только помню, как через кухонную дверь вошла девушка с кастрюлей в руке, прошла комнату поперек и подошла к наружной, входной двери. В следующую секунду в комнате было полное столпотворение – метаморфоза вроде тех, какие изображаются в цирке; вместо плывущих облаков, тихой музыки, колышущихся цветов и летающих фей вдруг делается какой-то хаос: толпа мечется, полисмены прыгают и спотыкаются о ревущих бэби, франты борются с клоунами, мелькают колбасы, арлекины, ничто не стоит на месте ни секунды.

Лишь только девушка с кастрюлей отперла дверь, как она распахнулась настежь, словно злые силы давно ждали этого мгновения, притаившись снаружи. Две свиньи и курица как бомбы влетели в комнату; за ними – терьер; кошка, спавшая на пивной бочке, моментально вскочила и приняла горячее участие в действии; девушка отбросила кастрюлю и грохнулась на пол; таинственный незнакомец вскочил и опрокинул стол со всем, что на нем было; из кухни выбежал хозяин и бросился по комнате за зачинщиком суматохи – терьером с острыми ушами и беличьим хвостом; рассчитав хорошенько удар ногой, хозяин хотел одним махом вышвырнуть собачонку из комнаты – но попал не в собачонку, а в одну из свиней, самую жирную. Удар был нешуточный; видно было, что бедному животному пришлось нелегко. Все огорчились за свинью, но больше всех, конечно, сам хозяин; он перестал бегать, сел посередине комнаты и так заныл, взывая к небесам о справедливости, что жители окрестных долин, вероятно, приняли эти звуки на вершине горы за какое-нибудь новое явление природы.

Между тем курица с громким кудахтаньем, криком и хлопаньем крыльев мелькала одновременно во всех углах комнаты; она без всякого труда взбиралась по стенам до самого потолка, и скоро они вдвоем с кошкой снесли на пол все, что еще оставалось на местах. Через сорок секунд все девять человек, бывшие в комнате, старались поймать терьера или хотя бы наградить его пинком. Последнее некоторым удавалось, так как пес, несмотря на свалку, еще успевал по временам останавливаться и лаять; но удары не портили его настроения: видимо, он сознавал, что за всякое удовольствие следует платить, и охота на курицу и пару свиней стоили этого. Кроме того, он мог без труда заметить то удовлетворяющее обстоятельство, что на один удар по его бокам приходилось несколько ударов на каждое живое существо в комнате; в особенности не везло первой жирной свинье, которая так и не двигалась с места, принимая со стоном назначенные терьеру ожесточенные пинки. Погоня за этой собачонкой напоминала игру в футбол, при которой мяч исчезал бы каждый раз, когда играющий разбежался и хорошенько замахнулся на него ногой, дав изо всей силы пинка по пустому пространству. При этом только и остается желать, чтобы в воздухе встретилась какая-нибудь точка сопротивления, которая приняла бы удар и избавила бы вас от удовольствия эффектно грохнуться на землю. Терьеру попадало только случайно, неожиданно для самих преследователей, так что они теряли равновесие и летели на пол – обязательно на ту же свинью; каждые полминуты на нее кто-нибудь сваливался, а она продолжала лежать и визжать, не видя выхода из своего положения.

Неизвестно, сколько времени продолжалось бы столпотворение, если бы Джордж не догадался остановить его: он один из всех нас занялся другой свиньей – той, которая еще могла бегать и была способна к сопротивлению. Ловкими приемами он зажал ее в угол, из которого был только один выход: в открытую дверь. Хитрость подействовала – и свинья с радостным воплем выскочила во двор, чтобы побегать на свежем воздухе вместо тесной комнаты.

Нам всегда хочется того, чего нет под рукой: оставшаяся свинья, курица, девять человек и кошка сразу потеряли всякий интерес в глазах терьера сравнительно с выбежавшей свиньей; он как вихрь помчался за исчезнувшей добычей – а Джордж захлопнул дверь и запер ее на задвижку.

Тогда хозяин встал и оглядел свое добро, лежавшее на полу.

– Игривая у вас собачка! – обратился он к странному посетителю с кирпичом.

– Это не моя собака, – угрюмо отвечал тот.

– Чья же она?

– Не знаю.

– Ну, это плохое объяснение! – заметил хозяин, поднимая портрет немецкого императора и вытирая с него рукавом пролитое пиво. – Я не верю.

– Я знаю, что не верите, – отвечал человек, – я и не ждал этого. Я устал уже доказывать людям, что это не моя собака. – Никто не верит.

– Чем же вас привлекает этот чужой пес, что вы с ним гуляете? Чем он так хорош?

– Я с ним не гуляю: это он сам выбрал меня сегодня в десять часов утра и с тех пор не оставляет ни на минуту. Я было думал, что отделался, когда зашел сюда; он остался довольно далеко, свернув шею утке. Мне, конечно, придется платить за нее на обратном пути.

– А вы пробовали бросать в него камни? – спросил Гаррис.

– Пробовал ли я бросать в него камни?! – повторил человек презрительным тоном. – Я бро-

сал в него камни до тех пор, пока руки чуть не отвалились! А он думает, что это такая игра, и приносит их мне обратно. Я битый час таскал с собой кирпич на веревке, надеясь утопить его – да он не дается в руки: сядет на шесть дюймов дальше, чем я могу достать, раскроет рот и смотрит на меня.

– Забавная история! – заметил хозяин. – Я давно не слыхал такой.

– Очень рад, если она кого-нибудь забавляет, – проговорил человек.

Мы оставили их с хозяином подбирать вещи, а сами вышли. В двенадцати шагах от двери верный пес ждал друга; вид у него был усталый, но довольный. Так как симпатии являлись у него, по-видимому, довольно неожиданно и легкомысленно, то мы в первую минуту испугались, как бы он не почувствовал влечения к нам; но он пропустил нас с полным равнодушием. Трогательно было видеть такую примерную верность, и мы не старались ее подорвать.

Объехав весь Шварцвальд, мы покатали на велосипедах через Альт-Брейзах и Кольмар в Мюнстер, откуда сделали маленькую экскурсию в Вогезы (составляющие границу страны, где живут настоящие люди – по мнению немецкого императора).

Рейн омывает Альт-Брейзах то с одной, то с другой стороны; он был еще молод, когда добрался сюда, и не мог сразу решить, какое ему выбрать направление. Альт-Брейзах, представляющий скорее крепость на скале, имел в старину какое-то особенное значение: кто бы с кем ни воевал, из-за чего бы ни началась борьба – Альт-Брейзах непременно был в деле. Все его осаждали, некоторые покоряли, но скоро снова теряли власть над ним; никто не мог с ним справиться. Житель древнего Альт-Брейзаха сам не всегда мог сказать о себе с уверенностью, чей он подданный: только что его причисляли к французам, и он настолько научался по-французски, чтобы сознательно платить подати, как ему объявляли, что он уже австриец; человек начинал осматриваться, стараясь сообразить, как ему сделаться хорошим австрийцем, но вдруг оказывалось, что он больше не австриец, а немец; в последнем случае он оставался в сомнении, какой он именно немец и к какому сорту немцев из всей дюжины имеет отношение. То ему объявляли, что он протестант, то – католик. Единственное обстоятельство его существования была обязательная тяжелая плата за то, что он француз, или австриец, или немец. Когда начинаешь думать обо всех условиях жизни в средние века, то становится странным: что за охота была жить всем этим людям – кроме королей и собирателей подати?

По разнообразию и красоте, Вогезы, с точки зрения путешественника, гораздо выше Шварцвальда; здесь нет нарушающей поэзию зажиточности шварцвальдского крестьянина: разрушение и бедность повсюду удивительные. Развалины замков, начатых римлянами и достроенных в эпоху трубадуров, расположены на таких высотах, где, казалось бы, могли гнездиться только орлы; но стоящие до сих пор остатки стены представляют целые лабиринты, в которых можно бродить часами.

Фруктовых и зеленых лавок в Вогезах не существует; представленные в них товары растут сами по себе – бери сколько хочешь. Поэтому здесь трудно придерживаться составленного плана прогулки; в жаркий день фрукты представляют слишком сильное искушение для остановок. Малина, какой я не встречал больше нигде, земляника, смородина, крыжовник – все это растет на склонах гор, как у нас ежевика на полях. Здесь мальчишкам не приходится устраивать грабежей в садах; они могут объедаться до болезни без всякого греха. Сады не огораживаются, и платы за вход в них не берут – как нельзя было бы требовать платы от рыбы, которая попала в ванну. Тем не менее ошибки все-таки иногда случаются.

Мы проходили как-то после обеда по склону горы и больше, чем следовало, увлеклись фруктами, которые росли со всех сторон в огромном выборе. Начав с запоздавшей земляники, мы перешли к малине; потом Гаррис нашел дерево ренглотов, с чудными зрелыми плодами.

– Это открытие, кажется, лучше всех прежних! – сказал Джордж. – Следует воспользоваться им основательно.

Совет был правильный.

– Жаль, что груши еще не поспели, – заметил Гаррис.

Но я скоро утешил его, найдя по близости какие-то необыкновенные желтые сливы.

– Жаль, здесь холодно для ананасов, – сказал Джордж. – Я с удовольствием съел бы теперь свежий ананас! Все эти обыкновенные фрукты скоро приедаются.

– Вообще, здесь слишком много ягод и слишком мало фруктовых деревьев, – прибавил

Гаррис. – Я бы не отказался от другого дерева ренглотов.

– А вот сюда подымается человек, – заметил я. – Он, вероятно, здешний и может нам указать, где еще растут ренглоты.

– Он взбирается довольно скоро для старика! – сказал Гаррис.

Человек действительно подымался к нам очень скоро; насколько можно было судить издали, он был веселого нрава – все время что-то кричал, пел и размахивал руками.

– Вот весельчак! – сказал Гаррис. – Приятно на него смотреть. Но почему он не опирается на палку, а несет ее на плече?

– Мне кажется, это вовсе не палка, – заметил Джордж.

– Что же это, если не палка?

– Да по-моему, скорее похоже на ружье.

Гаррис подумал и спросил:

– Надеюсь, мы не сделали никакой ошибки. Неужели это частный сад?

– Помнишь ли ты печальный случай, – сказал я, – на юге Франции два года тому назад? Какой-то солдат, проходя мимо сада, сорвал пару вишен; из дома вышел хозяин и, не говоря ни слова, застрелил его на месте.

– Да разве можно убивать людей за то, что они срывают фрукты, хотя бы и во Франции? – спросил Джордж.

– Конечно, нельзя, – отвечал я. – Это было незаконно. Единственное оправдание, приведенное его защитником, заключалось в том, что он был человек раздражительный и особенно любил вишни именно с того дерева.

– Я вспоминаю теперь, – заметил Гаррис. – Кажется, местная община должна была тогда уплатить большое вознаграждение родственникам убитого солдата; вполне справедливо, конечно.

– Однако становится поздно! – заявил Джордж. – И мне надоело топтаться на одном месте.

С этими словами он живо начал спускаться по другому склону горы. Гаррис поглядел на него и заметил с беспокойством:

– Он упадет и расшибется! Здесь нельзя ходить так скоро. И, кроме того, ведь он не знает дороги!

Через несколько секунд их уже не было видно. Мне стало скучно одному; я вспомнил, что с самого детства не испытывал приятного ощущения, когда сбегашь с крутой горы – и мне захотелось вспомнить его. Это не совсем правильное физическое упражнение, но, говорят, полезно для печени.

На ночь мы остановились в Барре, хорошеньком городке на пути в Ст. – Оттилиенберг. Интересная старинная гостиница устроена на горе монашеским орденом: прислуживают там монашенки и счет подает дьячок. Перед самым ужином вошел в зал путешественник; он имел вид англичанина, но говорил на языке, которого я никогда прежде не слышал; звуки казались изящными и гибкими. Хозяин гостиницы не понял ничего и глядел на путешественника в недоумении; хозяйка покачала головой. Он вздохнул и заговорил иначе; на этот раз звуки напомнили мне что-то знакомое, но я не знал, что именно. Снова он остался непонятным.

– А, черт возьми! – воскликнул он тогда невольно.

– О, вы англичанин?! – обрадовался хозяин.

– Monsieur устал, подавайте скорее ужин! – заговорила приветливая хозяйка.

Оба они превосходно говорили по-английски, почти так же, как по-французски и по-немецки, и засуетились, устраивая нового гостя. За ужином он сидел рядом со мной, и я начал разговор о занимавшем меня вопросе:

– Скажите, пожалуйста, на каком языке говорили вы, когда вошли сюда?

– По-немецки, – ответил он.

– О! Извините, пожалуйста.

– Вы не поняли? – спросил он.

– Вероятно, я сам виноват, – отвечал я. – Мои познания очень ограничены. Так, путешествуя, запоминаешь кое-что, но ведь этого очень мало.

– Однако они тоже не поняли, – заметил он, указывая на хозяина и на хозяйку, – хотя я говорил на их родном наречии.

– Знаете ли, дети здесь действительно говорят по-немецки, и наши хозяева, конечно, тоже знают этот язык до известной степени, но старики в Эльзасе и Лотарингии продолжают говорить по-французски.

– Да я по-французски к ним тоже обращался, и они все-таки не поняли!

– Конечно, это странно, – согласился я.

– Более чем странно – это просто непостижимо! Я получил диплом за изучение новых языков, в особенности за французский и немецкий. Правильность построения речи и чистота произношения были признаны у меня безупречными. И тем не менее за границей меня почти никто никогда не понимает! Можете ли вы объяснить это?

– Кажется, могу, – отвечал я. – Ваше произношение слишком безупречно. Вы помните, что сказал шотландец, когда первый раз в жизни попробовал настоящее виски? «Может быть, оно и настоящее, да я не могу его пить». Так и с вашим немецким языком: если вы позволите, я бы вам советовал произносить как можно неправильнее и делать побольше ошибок.

Всюду я замечаю то же самое; в каждом языке есть два произношения: одно «правильное», для иностранцев, а другое свое, настоящее.

Невольно вспоминал я первых мучеников христианства в тот период моей жизни, когда старался выучить немецкое слово «Kurchе». Учитель мой, крайне старательный и добросовестный человек, непременно хотел добиться успеха.

– Нет, нет! – говорил он. – Вы произносите так, как будто слово пишется К-и-с-h-е, а между тем в нем нет буквы «г»! Надо произносить вот так, вот...

И он в двадцатый раз за каждым уроком показывал мне, как надо произносить. Печально было то, что я ни за какие деньги не мог найти разницы между его произношением и своим; по моему глубокому убеждению, мы произносили это слово совершенно одинаково!

Тогда он принимался за другой способ:

– Видите ли, вы говорите горлом. – Совершенно верно, я говорил горлом. – А я хочу, чтобы вы начинали вот отсюда! – И он жирным пальцем показывал, из какой глубины я должен был «начинать» звук.

После многочисленных усилий и звуков, напоминавших что угодно, только не храм, я извинялся и складывал оружие.

– Это, кажется, невыполнимо! – говорил я – Может быть, причина заключается в том, что я всю жизнь говорил ртом и горлом и, боюсь, теперь уже поздно начинать по-новому.

Тем не менее, упражняясь часами в темных углах и на пустынных улицах – к великому ужасу редких прохожих, – я добился того, что мой учитель пришел в восторг: я выговаривал это слово совершенно правильно. Мне было очень приятно, и я оставался в хорошем настроении, пока не отправился в Германию. Там оказалось, что этого звука никто не понимает. Мои расспросы вызывали слишком много недоразумений. Мне приходилось обходить церкви подальше. Наконец я догадался бросить «правильное» произношение и с трудом вспомнил первобытное. Тогда, в ответ на расспросы, лица прохожих прояснились, и они охотно сообщали, что «церковь за углом» или «вниз по улице», как случалось.

Я вижу так же мало пользы в научном объяснении, которое требует каких-то акробатических способностей, но не приводит ни к чему. Вот образчик такого объяснения:

«Прижмите миндалевидные железы к нижней части гортани. Затем, выгнув корень языка настолько, чтобы почти коснуться маленького язычка, постарайтесь концом языка притронуться к щитовидному хрящу. Наберите в себя воздух, сожмите глотку и тогда, не разжимая губ, скажите Кагоо».

И когда все это сделаешь, они еще недовольны.

ГЛАВА XIII

Некоторые нравы и обычаи немецких студентов. – Мензура; ее «ненужная польза», по мнению импрессиониста. – Вкусы немецких барышень. – Salamander. – Совет иностранцам. – История, которая могла окончиться печально: о двух мужьях, двух женах и одном холостяке.

На обратном пути мы остановились в одном из университетских городов Германии, специ-

ально с целью ознакомиться с обычаями студенческой жизни, и, благодаря любезности некоторых знакомых, любопытство наше было удовлетворено.

В Англии мальчик резвится и играет до пятнадцати лет, а после пятнадцати – работает; в Германии же работает – мальчик, а юноша – развлекается. Здесь ребята отправляются в школу с семи часов утра летом, а зимой с восьми, и учатся. В результате шестнадцатилетний мальчик основательно знает математику, классиков и новейшие языки и знаком с историей в такой степени, в какой она может быть необходима только завзятому политику. Если он не мечтает о профессорской кафедре, то обширность его познаний является даже излишней роскошью.

А вот вам портрет студента – он не спортсмен, и очень жаль, потому что мог бы быть хорошим спортсменом. Он в редких случаях умеет играть в футбол, чаще ездит на велосипеде, еще чаще – увлекается французским бильярдом в душных ресторанах, а в большинстве случаев употребляет время на питье пива, на дуэли и на свободное, бесцельное бродяжничество ради собственного удовольствия, для которого немцы придумали слово «Bummel».

Каждый студент принадлежит к какой-нибудь корпорации; последние делятся по своему изяществу и блеску на несколько степеней: принадлежать к одной из блестящих корпораций могут только сыновья богатых родителей, так как это удовольствие обходится до восьми тысяч марок в год; корпорации «Буршеншафт» и «Ландсманшафт» не так разорительны. Крупные общества разделяются на более мелкие, а те, в свою очередь, имеют свои особые ветви. При таком разделении придерживаются более или менее землячества – но только «более или менее»: оно так же не выдерживает строгой критики, как, например, Гордоновский полк шотландской гвардии, который наполовину состоит из уроженцев Лондона. Но главная цель выдерживается, а именно чтобы университет подразделялся приблизительно на двенадцать отдельных корпораций, из которых каждая должна иметь строго определенные цвета знамени и шапок – а также строго определенную, излюбленную пивную, куда уже не допускаются члены других корпораций.

Главное занятие членов этих обществ состоит в том, чтобы драться с членами других обществ или своими собственными. Немецкая студенческая дуэль, «мензура», описывалась так часто и обстоятельно, что я не хочу надоедать читателям новыми подробностями. Я, как импрессионист, хотел бы только передать первое впечатление, какое произвела на меня эта «дуэль», так как считаю, что именно первые впечатления – не затемненные еще ничьим вмешательством и сложившиеся без всякого постороннего влияния – бывают самые справедливые.

Испанцы и южные французы глубоко убеждены и стараются убедить каждого в том, что бой быков изобретен специально для удовольствия и пользы самих быков; что лошадь, которая, по вашему мнению, стонала от боли, вовсе не страдала, а просто смеялась над собственной неудачей, относясь иронически к картине, которую представляют ее вырванные внутренности; и испанец, и француз, сравнивая ее блестящую смерть в цирке с бесславной кончиной на бойне, приходят в такой заразительный экстаз, что вам надо упорно сохранять хладнокровие, иначе вы, вернувшись в Англию, начнете хлопотать о введении боя быков как учреждения, развивающего рыцарство.

Нет сомнения, что Торквемадо искренно верил в пользу инквизиции для человечества. По его мнению, легкая встряска не могла принести ничего, кроме добра, любому располневшему джентльмену, страдающему припадками мускульного ревматизма. А спортсмены-охотники у нас в Англии находят, что каждой лисице можно позавидовать: она занимается спортом по целым дням, не расходуя на это ни одного пенса и являясь центром всеобщего внимания.

Привычка ослепляет и заставляет нас не видеть того, чего не хочется видеть.

Гуляя по улицам германских городов, на каждом шагу встречаешь джентльменов с дуэльными шрамами на лице. Дети здесь играют «в дуэль» сначала в детской, потом в школе, а затем, будучи студентами, уже серьезно играют в нее от двадцати до ста раз. Немцы убедили сами себя, что в этом нет ничего жестокого, ничего обидного, ничего унижающего. Защищая свои дуэли, они уверяют, что последние воспитывают в юношах смелость и хладнокровие. Если это и правда, то оно как будто бы лишнее в стране, где и без того каждый мужчина – солдат. И разве достоинства того, кто дерется перед зрителями ради приза, составляют особые достоинства солдата? Сомнительно! На поле сражения горячий характер приносит часто больше пользы, чем тупое равнодушие к собственным страданиям. В сущности, у немецкого студента не хватает смелости,

так как в данном случае она выразилась бы в отказе драться: ведь они дерутся не для собственного удовольствия, а из страха перед общественным мнением, которое отстало на двести лет.

Знаменитая «мензура» вырабатывает одно: привычку к зверству. Говорят, она требует ловкости, но этого не заметить; остается впечатление чего-то неприятного и смешного, как от драки в балаганных театрах. Мне рассказывали, что в аристократическом Бонне и в Гейдельберге, где много иностранцев, дуэли происходят в более выдержанном стиле: в хороших комнатах, в присутствии седовласых докторов, которые оказывают помощь раненым, между тем как ливрейные лакеи обносят публику угощениями; так что все получает вид живописной церемонии. Но в более скромных университетах, где рисоваться не для кого, студенты ограничиваются самым главным и отнюдь не привлекательным. Право, настолько непривлекательна вся обстановка, что чувствительному читателю лучше пропустить это место: я не мог бы украсить действительности, да и пробовать не хочу!

Комната мрачная, голая; стены забрызганы пивом, кровью и стеарином; потолок закопчен сигарным дымом; пол усыпан опилками. Толпа студентов разместилась где попало – на деревянных скамьях и табуретках, на полу; все курят, разговаривают, смеются.

В центре комнаты стоят друг против друга соперники: огромные, неуклюжие, с выпученными глазами, в шерстяных шарфах, намотанных вокруг шеи, в каких-то фуфайках на толстой подкладке, похожих на грязные одеяла; руки просунуты в тяжелые ватные рукава, подняты. Не то это воины, каких изображают на японских подносах, не то – нелепые фигуры с вычурных часов.

Секунданты тоже начинены ватой, на головах у них торчат шапки с кожаными верхушками; они ставят соперников в надлежащую позицию, причем так и кажется, что послышится звук заводимой пружины. Судья садится на свое место, дает сигнал, – и немедленно раздаются пять быстрых ударов длинных эспадронов. Следить за борьбой неинтересно: нет ни движения, ни ловкости, ни грации – я говорю о собственном впечатлении. Тот, кто сильнее, кто может дольше удержать неестественно согнутой рукой в толстом рукаве огромный, неуклюжий меч – выигрывает.

Общий интерес сосредоточивается не на борьбе, а на ранах: последние приходится обыкновенно по голове или в левую половину лица, иногда взлетает на воздух кусок кожи с черепа, покрытый волосами, который впоследствии бережно сохраняется его гордым обладателем – или, вернее, его бывшим гордым обладателем и показывается на вечерах гостям, конечно, из каждой раны в обилии течет кровь; она брызжет на стены и потолок, попадает на докторов, секундантов и зрителей, делает лужи в опилках и пропитывает толстую одежду дерущихся. После каждого ряда ударов подбегают доктора и уже окровавленными руками зажимают зияющие раны, подтирая их шариками мокрой ваты, которые помощник держит готовыми на тарелке. Понятное дело, лишь только соперники снова становятся на места и продолжают свою «работу», раны в ту же минуту раскрываются, и кровь хлещет из них ручьем, почти ослепляя дерущихся и делая пол у них под ногами совершенно скользким. Иногда вы видите левую половину челюстей, обнаженных почти до самого уха, отчего получается такой вид, как будто человек глупо ухмыляется в одну сторону, оставаясь серьезным для другой половины зрителей; а иногда ударом рассекут кончик носа, что придает лицу странно-надменное выражение.

Мне кажется, сражающиеся не делают никаких попыток избегать ударов: стремление каждого студента заключается в том, чтобы выйти из университета с возможно большим количеством шрамов на лице. Победителем считается тот, которого больше исполосовали; к нему относятся восторги товарищей, зависть юнцов и поклонение девиц; изрезанный и заштопанный, он с гордостью разгуливает первый месяц после мензуры, не смущаясь тем, что почти утратил человеческий облик. Другой боец – на долю которого выпало несколько ничтожных царапин – удаляется с места действия раздосадованный и огорченный.

Самая драка считается не столь важной и интересной, как перевязка ран, происходящая затем в соседней комнате, «перевязочной». Доктора только что со школьной скамьи, жаждущие практики после недавнего получения дипломов. Я должен прибавить по совести, что те из них, которых мне пришлось видеть самому, имели далеко не сострадательный вид и, кажется, находили большое удовольствие в своей работе; а работали они так, как не стал бы работать ни один порядочный доктор; но, по-видимому, обычаи мензуры требуют, чтобы перевязка ран была по

возможности грубее и мучительнее – так что, может быть, молодых докторов винить и нельзя. То, как студент выносит перевязку ран, считается настолько же важным, как его стойкость в самой драке; товарищи наблюдают внимательно, требуя самого веселого и довольного вида, несмотря на всю жестокость, с какой производится перевязка. Широкие, зияющие раны – самые желанные; их нарочно зашивают кое-как, чтобы шрам остался на всю жизнь. Счастливый обладатель основательного безобразия может смело рассчитывать обзавестись в течение первой недели любящей невестой – с приданым, выражающимся по крайней мере пятизначной цифрой.

Таких дуэлей бывает несколько в неделю, причем на каждого студента приходится до дюжины в год. Но бывает еще особая мензура, к которой зрители не допускаются: она происходит между студентом, опозорившим себя хоть малейшим движением во время дуэли с товарищем, и лучшим бойцом всей корпорации; последний наносит провинившемуся целый ряд кровавых ран; и только после этого, доказав свое уменье достойно принять наказание и не шелохнуться даже тогда, когда ему снесут половину черепа, студент считается омытым от позора и достойным остаться в ряду своих товарищей.

Сомневаюсь, чтобы можно было привести серьезный довод в защиту подобного обычая. Во всяком случае, если мензура и имеет какое-нибудь полезное влияние, то только на самих дерущихся; на зрителей же – очень гадкое и злое! – Я знаю свой характер настолько хорошо, что определенно могу считать себя не особенно кровожадным существом, и впечатление, произведенное на меня мензурой, наверное то же, какое выносит из нее каждый средний человек: прежде чем дело началось, у меня к любопытству примешивалась беспокойная мысль о том, как мои нервы выдержат предстоящее зрелище, хотя я успокаивал себя тем, что имею некоторое представление о хирургических палатах. Когда потекла кровь и начали обнажаться мышцы и нервы, я почувствовал жалость и отвращение. Но когда первая пара сражающихся заменилась второй – признаюсь, человеческое чувство начало во мне гаснуть; а когда еще двое молодцов принялись резать друг друга – дело представилось мне в красном свете, как говорят американцы. Я вошел во вкус. Осмотревшись, я заметил на всех лицах такое же желание видеть новые раны, новую кровь. Если нужно развивать кровожадные инстинкты в современном человеке – то мензура вполне достигает цели; но нужно ли это? – Мы гордимся нашей гуманностью и цивилизацией, но, отбросив в сторону лицемерие, все-таки должны признать, что под крахмальными манишками в каждом из нас сидит дикарь с нетронутыми дикими инстинктами, он никогда не исчезнет; иногда он нужен нам – и тогда является по первому требованию; но подкармливать его – лишнее.

В пользу серьезной дуэли можно сказать многое; но в пользу мензуры – ничего. Это пустое ребячество, несмотря на всю жестокость игры. Жестокость не придает ей серьезности. Ведь раны имеют собственную цену – не по степени тяжести, а по внутреннему смыслу, по облагораживающим их обстоятельствам. Вильгельма Телля справедливо считают одним из мировых героев, но что сказали бы мы о клубе, устроенном обществом отцов с тою целью, чтобы два раза в неделю собираться компанией и сбивать яблоки с голов своих сыновей? Мне кажется, немецкие студенты с полным успехом достигали бы желанных результатов, попросту дразня диких кошек! Не стоит записываться членом клуба ради того, чтобы вам искромсали физиономию. Путешественники рассказывают об африканских дикарях, которые выказывают свой восторг тем, что секут себя; но европейцам незачем следовать такому примеру. Мензура олицетворяет собой только нелепую сторону дуэли, и если немцы сами не видят, что увлекаться этим смешно, то их остается только пожалеть.

В Германии студенты поголовно пьянством не занимаются; большинство – народ трезвый, хотя и не особенно солидный; но меньшинство – признанные представители немецкого студенчества – ухитряются лишь до некоторой степени сохранять контроль над своими пятью чувствами и таким образом пребывают в хроническом состоянии все же не мертвецкого опьянения, хотя пьют полдня и всю ночь напролет. Пьянство действует не на всех одинаково, и все-таки в каждом университетском городе Германии нередко встречаются юноши моложе двадцати лет с фигурой Фальстафа и цветом лица рубенсовского Бахуса. Давно известно, что немецкую девушку можно очаровать физиономией, точно неловко сшитой из разных матерчатых лоскутьев; но не могут же женщины находить интерес в одутловатой, распухшей роже и выпученных глазах!

А без последнего обойтись никак нельзя, если начинаешь в десять часов «утренним глот-

ком» пива, а кончаешь в четыре часа на рассвете пирушкой, называемой «Кне́йре». Последняя устраивается студентом, который приглашает товарищей – числом от дюжины-до сотни – в излюбленный ресторан и затем угощает пивом и дешевыми сигарами столько, сколько допускает их собственное чувство самосохранения. Иногда пирушка устраивается всей корпорацией; характер ее зависит, конечно, от состава компании и может быть как очень шумным, так и очень мирным; но в общем соблюдается дисциплина и строгий порядок.

При входе каждого нового товарища, все уже сидящие за столом встают, щелкают каблукми и отдают честь. Когда сборище в полном составе, избирается председатель, обязанность которого заключается в дирижировании пением. На столе раскладываются печатные ноты – по одному экземпляру на каждых двух человек, – и председатель кричит:

– Номер двадцать девятый! Первый куплет!

И первый куплет раздается дружным хором. У немцев часто встречаются хорошие голоса, петь они учатся и умеют все, так как хоровое пение пользуется среди них большой любовью – и поэтому эффект получается полный.

Содержание песен бывает иногда патристическое, иногда сентиментальное, иногда весьма реалистическое – такое, которое смутило бы среднего юношу англичанина – но немцы поют все одинаково: без улыбки, без смеха, без единой фальшивой ноты, с полной серьезностью держа перед собой ноты, как книжку гимнов в церкви.

По окончании каждой песни председатель кричит:

«Prosit!» Все отвечают: «Prosit!» – и осушают стаканы. Пианист-аккомпаниатор встает и кланяется; все кланяются ему в ответ; входит девушка и снова наполняет стаканы пивом.

Между песнями говорят тосты, но они вызывают мало аплодисментов и еще меньше смеха; считается более достойным и приличным важно улыбаться и кивать друг другу головами.

С особенной торжественностью пьют тост, называемый «Salamander» – в честь какого-нибудь почетного гостя.

– Теперь, – говорит председатель, – мы разотрем Salamander! (Einen Salamander reiben).

Все встают, торжественно-внимательные, как полк на параде.

– Все готово? – спрашивает председатель.

– Все! – в один голос отвечает компания.

– Ad excitium Salamandri! – провозглашает председатель. Все стоят начеку.

– Eins!.. – Все быстрым движением трут дном стакана по столу.

– Zwei!.. – Стаканы опять шумят, описывая круг.

– Drei! Bibite! («пить!») – И все, залпом осушив стаканы, поднимают их высоко над головой.

– Eins! – продолжает председатель; пустые стаканы катятся по столу, снова описывая круг, но производя на этот раз шум вроде волны, набегавшей на низкий берег и уносящей с собой тысячи мелких камешков.

– Zwei! – Волна опять набегает и замирает.

– Drei! – Все с размаху разбивают стаканы о стол и садятся по местам.

На этих пирушках бывают и состязания: два товарища в шутку ссорятся и вызывают друг друга на дуэль. Выбирается судья, приносят две невероятно большие кружки пива, и соперники садятся рядом. Все глаза устремлены на них; судья дает сигнал – и пиво исчезает в глотках. Тот, кто первый стукнет пустой кружкой о стол, – победитель.

Иностранцам, которым приходит желание посмотреть «Кне́йре», следует в самом начале вечера записывать свое имя и адрес на клочке бумажки и прикалывать его к сюртуку. Немецкие студенты – народ вежливый, и, в каком бы состоянии они ни были сами, но приложат все старания, чтобы развести гостей по домам; тем не менее они не могут и не обязаны помнить адрес каждого гостя.

Мне рассказывали о трех англичанах, пожелавших из любопытства принять участие в «Кне́йре», причем их любознательность чуть не кончилась плачевным образом из-за недостатка догадливости. Они сообразили вовремя, что не мешает написать свои адреса на визитных карточках, для общего сведения, и сообщили свое намерение всей компании. Намерение вызвало общее одобрение, – и бумажки были аккуратно приколоты к скатерти против каждого из трех англичан. Но в этом и заключалась ошибка: им следовало приколоть их не к скатерти, а к собственным сюртукам, так как в продолжение «Кне́йре» очень легко бессознательно переменить

свое место.

Ранним утром председатель предложил отправить по домам всех, кто больше не в состоянии поднять голову со стола. Среди тех, для кого пирушка уже потеряла интерес, были три англичанина. Решили посадить их на извозчика и доставить куда следует под охраной более или менее трезвого студента. Если бы иностранцы догадались сидеть всю ночь на своих местах, то дело было бы очень просто; но они беспечно разгуливали по залу, так что теперь никто не знал, которому из джентльменов принадлежит каждая из трех карточек с адресами – и еще менее знали об этом сами джентльмены. Но в ту веселую минуту такое обстоятельство казалось сущим пустяком: на лицо были три гостя и три карточки, и, следовательно, все обстояло благополучно. Если у любезных хозяев и мелькнула мысль о возможной путанице, то вероятно, им в то время казалось очень легким рассортировать джентльменов на следующий день.

Как бы ни было, их усадили в экипаж под охраной студента, захватившего все три карточки, и проводили самыми радушными пожеланиями.

Немецкое пиво имеет одно достоинство: от него человек не делается ни раздражительным, ни шумливым и ни к кому не пристаёт – что считается естественным для пьяного в Англии; опытяев от пива, хочется только молчать, остаться одному и спать; все равно где – где попало.

Студент велел извозчику ехать в ближайшее из трех указанных мест. Доехав по адресу, он вытащил из экипажа самого безнадёжного из всех субъектов – вполне естественно было отделаться поскорее от «тяжелого случая» – и вытащил его с помощью извозчика наверх. Здесь находился указанный на визитной карточке пансион. На звонок ответил сонный лакей. Они внесли свою ношу и огляделись, куда бы ее пристроить. Дверь в чью-то спальню стояла открытой. Воспользовавшись удобным обстоятельством, они внесли туда ничуть не возражавшего джентльмена, положили его на кровать, сняли с него то, что легко было стащить, и ушли, очень довольные собственной добросовестностью.

Поехали дальше, по второму адресу. Здесь им отворила дверь дама в капоте, с книжкой в руках. Студент взглянул на оставшиеся у него две карточки и спросил, имеет ли он удовольствие видеть госпожу Y. Случилось так, что это действительно была миссис Y – хотя все удовольствие встречи, по-видимому, относилось исключительно к студенту. Последний сообщил, что джентльмен, спящий в настоящую минуту у порога, – ее супруг. Это сообщение не привело в восторг миссис Y; она молча открыла дверь в спальню и удалилась. Студент с извозчиком внесли джентльмена и положили его на кровать; но раздевать не стали – они уже начали уставать – и, не встретив больше хозяйки дома, удалились без разговоров.

На последней карточке значился адрес гостиницы; туда свезли оставшегося субъекта и передали ночному сторожу.

Между тем часов за восемь до развозки джентльменов по адресам, в доме мистера и миссис X происходил следующий разговор:

– Я, кажется, говорил тебе, дорогая моя, что меня приглашали сегодня на так называемую «Rneipe?» Да что-то в роде холостяцкой пирушки, где студенты собираются пить, разговаривать и – и курить. Ну, знаешь, обыкновенная вечеринка!

– А! – Что ж, иди. Надеюсь, тебе будет весело.

Миссис X была милая и умная женщина.

– Это должно быть интересно, – заметил мистер X. – Любопытно посмотреть; мне давно хотелось. Может быть, то есть может случиться, что – что я немного дольше задержусь там.

– А что ты называешь «дольше задержаться»?

– Видишь ли, трудно сказать в точности. Студенты – народ буйный, и когда они сходятся, то, вероятно... вероятно, пьется много тостов. Я не знаю, какое это произведет на меня впечатление. Если удастся, я уйду пораньше – так, чтобы никого не обидеть, конечно; ну а если нельзя будет, то...

Я уже сказал, что миссис X была умная женщина, она перебила мужа:

– Ты лучше попроси здесь, чтобы тебе дали второй ключ от двери, вот и все. Я лягу спать с сестрой, и тогда ты мне не помешаешь, в какое бы время ни вернулся.

– Это отличная мысль! – согласился мистер X. – Мне всегда ужасно неприятно тревожить тебя. Я тихонько войду и проскользну в спальню.

Поздно ночью – или рано утром – Долли, сестра миссис X, приподнялась на постели и при-

слушалась.

– Дженни! – спросила она. – Ты не спишь?

– Нет, милая. А ты почему проснулась? Спи спокойно.

– Что это за шум? Не пожар ли!

– Нет, нет. Это Перси вернулся; вероятно, он споткнулся обо что-нибудь в темноте. Не беспокойся, душечка, спи.

Долли заснула; но миссис Х, как хорошая жена, решила встать и пройти в спальню, чтобы посмотреть, спокойно ли уснул ее муж. Накинув халат и туфли, она тихо вышла в коридор, а оттуда открыла дверь в свою комнату. Будить мужа она не собиралась: для этого понадобилось бы целое землетрясение. Она только зажгла свечу и приблизилась к спящему.

Это не был Перси. Это был какой-то мужчина, ни капельки не похожий на Перси! Она почувствовала, что этот мужчина ни в каком случае не мог бы быть ее мужем. При настоящих обстоятельствах она даже почувствовала к нему отвращение – такое отвращение, что единственным желанием было поскорее отделаться от него!

Но тут она заметила в лице спящего что-то знакомое и, всмотревшись повнимательнее, вспомнила, что это мистер Y, женатый человек, у которого она с Перси обедала в первый день после приезда в Берлин.

Но как он сюда попал?.. Она поставила свечу на стол и, сжав голову руками, начала думать. Страшная правда скоро мелькнула в ее воображении: Перси отправился на «Кнепсе» вместе с мистером Y; произошла ошибка; мистера Y доставили сюда, а Перси в эту минуту...

Тут миссис Х бросилась обратно в комнату сестры, наскоро оделась и бесшумно сбежала вниз по лестнице. На ее счастье, проезжал мимо дома ночной извозчик; она вскочила в экипаж и велела ехать по адресу миссис Y.

Там она приказала извозчику подождать, вбежала наверх и решительно позвонила.

Дверь открыла миссис Y, все еще в капоте и с книжкой в руках.

– Миссис Х?! – воскликнула она в удивлении. – Зачем вы сюда приехали?

– За моим мужем! – Больше бедная миссис Х ничего не могла придумать в эту минуту. – Он здесь? Миссис Y выпрямилась в негодовании:

– Миссис Х! Как вы смеее?!

– Ах, поймите меня, ради Бога! Это все ужасная ошибка! Они принесли моего бедного мужа сюда не нарочно, но все-таки принесли. Посмотрите, умоляю вас!

– Милая моя, – отвечала миссис Y – она была гораздо старше и спокойнее. – Не волнуйтесь. Они действительно принесли сюда джентльмена полчаса тому назад, и, сказать по правде, я на него даже еще не взглянула. Он там, в спальне; они уложили его на кровать и оставили как есть: если вы успокоитесь, мы стащим его вниз и доставим к вам так тихо, что никто, кроме нас, об этом не узнает.

Очевидно, самой миссис Y захотелось теперь помочь знакомой даме. Она открыла дверь в спальню, и миссис Х вошла в нее; но через секунду выбежала с искаженным, бледным лицом:

– Это не мой муж! Что мне делать?..

– Очень жаль, что вы впадаете в подобные заблуждения, – холодно проговорила миссис Y, направляясь в спальню.

– Да, но это и не ваш муж! – остановила ее миссис Х.

– Вот глупости!

– Нет, не глупости! Я знаю наверное, потому что только что оставила вашего мужа в моей квартире: он спит на кровати Перси.

– Как! Что он там делает?!

– Ничего не делает! Они его принесли и положили! – объяснила миссис Х, начиная плакать. – Я оттого и подумала, что Перси попал к вам!

Обе женщины замолчали и глядели друг на друга. По другую сторону полуотворенной двери раздавался только храп спящего джентльмена.

– Так кто же здесь лежит? – первая спросила миссис Y.

– Я не знаю! Я его никогда не видела. Не знаете ли вы, кто это такой?

Миссис Y с шумом захлопнула дверь.

– Что же нам делать? – спросила миссис Х.

- Я знаю, что мне делать: я еду к вам за моим мужем.
- Он очень сонный, – заметила миссис Х.
- Ничего, не в первый раз он сонный, – отвечала миссис Y, застегивая пальто.
- Но где же Перси?!.. – рыдала бедная миленькая миссис Х, когда они вдвоем спускались по лестнице.
- Об этом уж вы, моя милая, узнаете от него самого.
- Если они так ошибаются, то могли сделать с ним Бог знает что!
- Утром мы все узнаем, душечка. Не беспокойтесь.
- Ну, теперь я вижу, что «Кнеіре» – ужасная вещь! Больше я никогда в жизни не пущу Перси на эти «Кнеіре»!
- Дорогая моя, – заметила наставительно миссис Y. – Если вы будете исполнять ваш долг, то он никогда и не захочет уходить из дома.

И говорят, Перси больше никогда не уходил. Но я все-таки думаю, что вся ошибка заключалась в прикалывании визиток к скатерти. А ошибки в нашем мире жестоко наказываются.

ГЛАВА XIV

Несколько серьезных мыслей на прощанье. – Немец с англо-саксонской точки зрения. – Городовой. – Инстинкт командования и подчинения. – Купец. – Новая женщина. – Единственный упрек, который можно сделать немцам. – «Bummel» окончен.

- Всякий мог бы управлять этой страной, – заметил Джордж.

Мы сидели в саду гостиницы «Кайзергоф», в Бонне, глядя с высоты на Рейн. Это был последний вечер нашего бродяжничества; мы закончили предпринятый «Bummel», и на следующее утро предстояло «начало конца»: с ранним поездом мы отправлялись в обратный путь.

- Даже я мог бы управлять этой страной, – продолжал Джордж. – Я написал бы на листке бумаги все, что люди обязаны делать, велел бы это напечатать в хорошей типографии и приказал бы развесить по городам и деревням; вот и все.

В современном тихом и обстоятельном немце, находящем полное удовлетворение в том, что он платит подати и исполняет приказания тех, кто волей судьбы поставлен властвовать над ним, – действительно трудно различить черты его диких предков, для которых свобода была воздухом, жизнью, условием существования; которые избирали вождей – но только для совета, а народ оставлял за собой право исполнять или не исполнять предписания, относясь презрительно к беспрекословному подчинению. В настоящее время в Германии много толкуют о социализме, но это социализм, который при других условиях быстро стал бы деспотизмом. Свобода воли и личности не искушает немца, он любит, чтобы им управляли; а недовольные – не довольны только формой проявления власти, но не самым ее существованием над ними.

Полицейский для немца – брамин. В Англии мы считаем городских безобидной необходимостью, они служат у нас в качестве верстовых столбов, а в центре города оказывают пользу почтенным дамам, которые не могут сами перейти через улицу; кроме благодарности за эти услуги, мы не питаем к ним никаких особенных чувств.

Но в Германии городской вызывает благоговение и восторг. Для немецкого ребенка городской – добрый волшебник: он устраивает площадки для игр, с песком, качелями и гигантскими шагами, интересные базары и бассейны для купанья; он же наказывает за шалости. Немецкое дитя стремится понравиться городскому: если он улыбнется – оно счастливо; жить в одном доме с ребенком, которого городской погладил по голове – невыносимо, до такой степени он важничает.

Здесь каждый гражданин чувствует себя солдатом, а городских признает офицерами. Городовой указывает ему, куда идти, и с какой скоростью, и как переходить мосты; если бы у мостов не было полиции, немец готов был бы сесть на землю и ждать, пока протечет вся река. На железнодорожных станциях его запирают в комнату, где он может умереть, и в надлежащее время передают кондуктору поезда – тоже, в своем роде, городскому, он усаживает немца на определенное место, довозит куда следует и там выпроваживает.

В Германии незачем о себе беспокоиться: все делается для вас, и делается хорошо. Никто

от вас не требует, чтобы вы за собой смотрели: никто не считает странным, если вы этого не умеете: смотреть за вами должен полицейский. Если вы беспомощный идиот и попадаете в какую-нибудь историю, – то виноват он, а не вы. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, он заботится о вас – заботится добросовестно и безупречно. Если вы что-нибудь потеряете – он найдет, если вы сами себя потеряете – он вас водворит куда следует, если вы не знаете, чего вам хочется, – он вам объяснит; если вам хочется чего-нибудь полезного и хорошего – он достанет.

Частные поверенные в Германии не нужны, если вы хотите продать дом или купить землю, государство похлопочет для вас. Если вас надули, государство начнет расследование дела. Государство вас страхует, женит и немножко развлекает азартными играми.

– Пожалуйста, вы только родитесь на свет Божий, – говорит немецкое начальство гражданина, – а мы сделаем все остальное. Дома и вне дома, в болезни и добром здоровье, в труде и в удовольствии, всегда вам будет сказано, что надо делать, – и уж мы посмотрим, чтобы вы действительно сделали то, что надо. Ни о чем, пожалуйста, не беспокойтесь.

И немец не беспокоится. Если поблизости нет городского, он ходит, пока не увидит объявления: тогда прочтет его и делает то, что сказано.

Я помню, в каком-то немецком городе мне случилось проходить мимо парка, в котором играла музыка; в него вели двое ворот, у одних продавались билеты, а другие – за четверть мили от первых – стояли широко открытыми; здесь не было ни сторожа, ни городского, и каждый желающий мог бы свободно войти в парк и слушать музыку. Но никто не подумал войти в эти ворота: все под палящим зноем ползли к главному входу, где стоял человек и собирал входную плату.

Я также видел, как несколько мальчуганов стояли в томлении перед замерзшим прудом, место было пустое, вокруг ни души, и они могли бы кататься на коньках часа три подряд – никто бы их не заметил; народ был далеко, за полмили, на другом конце пруда, да еще за поворотом; но мальчишки так и простояли, томясь желанием, но не сходя на лед только потому, что это запрещено.

Такие факты невольно наводят на сомнения: одной ли породы Тевтоны с грешным родом людским? Может быть, это добрые духи, слетевшие на землю только для того, чтобы выпить стакан пива – которое, как им должно быть известно, можно пить только в Германии?

Здесь дороги из деревни в деревню обсажены фруктовыми деревьями; никто, кроме совети, не препятствует пользоваться их плодами. В Англии такое обстоятельство возбудило бы страшное волнение: дети умирали бы сотнями от холеры, доктора сбились бы с ног в борьбе с последствиями объедения зелеными яблоками и неспелыми орехами, и публика пришла бы в негодование, требуя, чтобы землевладельцам запретили устраивать вместо заборов и каменных стен живые изгороди из фруктовых деревьев – за счет детских желудков.

Для англосаксонского ума представляется потерей времени проходить мимо целых стен фруктовых деревьев и не трогать их; по нашему мнению, смотреть хладнокровно на ветви, склоненные под тяжестью зрелых плодов, – было бы насмешкой над дарами природы. А в Германии мальчик пойдет по такой дороге за несколько миль, в соседнюю деревню, чтобы купить там на пять пфеннигов груш.

Мне кажется, что приговоренному к смертной казни немцу можно было бы просто дать веревку и печатные правила: он отправился бы домой, прочел бы их внимательно и повесился бы у себя на заднем дворе, согласно всем пунктам. Я не удивился бы, услышав о таком случае.

Немцы – хороший, добрый народ – может быть, самый лучший на свете. Наверное, в раю их гораздо больше, чем представителей других наций. Я только не могу понять, каким образом они туда попадают: невероятно, чтобы душа каждого отдельного немца самостоятельно влетала на небо; мне кажется, что их собирают партиями и отправляют каждую партию под охраной умершего городского.

Карлейль по справедливости признал за пруссаками – и это относится ко всем германцам – одну великую добродетель: способность к выправке. Научите его работать и отправьте в Африку или Азию, под начальством кого-нибудь носящего форму – и он будет делать что угодно, встретит хоть самого черта, если прикажут. Но сделать из него пионера очень трудно; предоставленный собственной инициативе, он скоро погибнет: не от глупости, а от того, что над ним нет начальства, которому можно слепо доверить себя самого. Немец так долго был ландскнехтом всех государств, что солдатчина вошла в его плоть и кровь. Он даже иногда страдает от ее из-

бытка; мне рассказывали об одном лакее, незадолго перед этим окончившем военную службу: хозяин послал его с письмом в один дом и велел ждать ответа. Час проходил за часом, а человек не возвращался. Отправившись лично, хозяин застал его все еще в том доме, куда послал, хотя с ответным письмом в руке: он ожидал дальнейших приказаний.

Удивительнее всего то, что каждый человек, бывший сам по себе беспомощным существом, становится у них энергичным, сообразительным, находчивым – лишь только на него наденут форму и сделают начальником над другими. За других он готов отвечать, охранять их, управлять сам собой. Немец или повинует, или командует. Остается одно: обучать их всех командовать – и затем отдавать каждого под его собственное начальство; тогда он будет отдавать сам себе разумные, смелые приказания и следить, чтобы они были исполнены.

У них один девиз: долг, а понятие о долге сводится, кажется, к следующему: слепое повиновение каждому, кто носит блестящие пуговицы. Эта идея диаметрально противоположна той, на которой построено процветание англосаксов; но так как и тевтонская раса тоже процветает – значит, в обеих системах есть истина. До сих пор Германии везло относительно правителей, тяжелое время настанет для нее тогда, когда испортится главная машина, но, может быть, описанный выше характер народа постоянно подготавливает хороших правителей; это вполне вероятно.

В сфере торговли немец, мне кажется, всегда останется позади англосаксов – если только его характер не переменится: теперь он слишком добродетелен для купца. Жизнь для него не представляет погони за богатством, он придает ей больше смысла; среди дня он запирает лавочку (даже банк и почтовую контору) на два часа и отправляется домой – пообедать в недрах семейства и вздремнуть за десертом. Такой народ не может соперничать с тем, который на пять минут отрывается от работы, чтобы позавтракать, стоя у прилавка, и спит с телефоном над кроватью.

В Германии не делается такого огромного различия между классами населения, чтобы ради положения в обществе стоило бороться не на живот, а на смерть. Правда, круг аристократов-землевладельцев держится у них как за неприступной стеной, но вне этого замкнутого царства – положением не гордятся и не смущаются. Жена профессора и жена мастера со свечной фабрики каждую неделю встречаются в излюбленной кофейне и дружно обсуждают местные скандальные новости; доктора не брезгают обществом трактирщиков, с которыми выпивают не одну кружку пива; богатый инженер, собираясь с семьей на пикник, приглашает принять в нем участие своего управляющего и портного: те являются с чадами и домочадцами, со своей долей бутербродов и питья, и все отправляются вместе, а на обратном пути поют хором песни. При таком положении вещей незачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы приготовить себе достойную обстановку для лет старческого слабоумия. Вкусы и стремления немца – и даже его жены – остаются до конца дней непритязательными. Он любит видеть в своем доме побольше красного плюша, позолоты и лакировки; но этим его понятия о роскоши удовлетворяются вполне; и может быть, это не хуже стиля Людовика XV в смеси с ложным стилем времен Елизаветы, электрическим освещением и массой фотографий. Иногда немец наймет художника и прикажет ему изобразить на главном фасаде своего дома кровопролитную битву – которой всегда мешает входная дверь, а в спальне над окнами парящего в воздухе Бисмарка. Но для того, чтобы полюбоваться хорошими мастерами, он идет в общественные картинные галереи и не разоряется на редкости даже тогда, если имеет деньги, так как в Германии еще не развилась страсть лезть в знаменитости и пока нет обычая осаждать «знаменитостей» в их домашней обстановке, чтобы затем описывать все в газетах.

Немец любит покушать. В Англии встречаются фермеры, которые, жалуясь на разоряющее хозяйство, с успехом едят по семи раз в день; в России в продолжение одной недели в году бывает пиршество, которое не обходится без смертных случаев от объедения блинами; но это – исключение, имеющее в основе религиозный обычай. В Германии же развилось особенное умение есть, «из любви к искусству», которого нет ни в одном другом государстве. Немец, только что встав, выпивает за одеванием несколько чашек кофе с полдюжиной горячих булочек с маслом; но этого он не считает и в десять часов садится в первый раз к столу; в половине второго садится обедать – очень основательно: обед считается главной едой в продолжение дня, и он предается ему как важному делу часа два подряд; в четыре часа он отправляется в кофейню и полчаса занимается там уничтожением кофе и сладких пирожков. Затем, целых три часа он не трогает

ничего и только с семи начинает закусывать – и уж закусывает целый вечер: бутылку пива с бутербродами, потом, где-нибудь в театре, еще бутылку пива с холодным мясом и колбасами, потом еще бутылочку белого вина и яичницу и, наконец, перед самым сном – кусочек хлеба с колбасой и для промывки еще немного пива.

Но он не лакомка: французские повара и французские цены в немецких ресторанах не прививаются. Немец предпочитает пиво и свое местное белое вино самому дорогому шампанскому и красным французским винам. И хорошо делает, что предпочитает: когда француз-виноторговец отправляет бутылку в немецкую гостиницу, он вероятно, вспоминает Седан и злобно улыбается; впрочем, его бутылки заказываются по большей части невинными путешественниками-англичанами! Но, пожалуй, он и в этом случае имеет право улыбнуться и поставить свою бутылочку в счет за Ватерлоо.

В Германии никто не требует изысканных, дорогих развлечений, и никто их не устраивает; здесь все уютно и по-домашнему. Немцу не надо делать членских взносов по части разного спорта, он не поддерживает никаких общественных увеселительных учреждений, у него нет гордых знакомых богачей, для которых нужно нарядно одеваться. Его главное удовольствие – кресло в опере – стоит несколько марок; туда его жена и дочери ходят в платьях домашнего шитья, накинув на голову платочки. В сущности, на этой безусловной простоте, царящей во всей стране, отдыхает глаз путешественника-англичанина. У немцев своих лошадей и экипажей очень мало; даже извозчиками мало пользуются – лишь тогда, когда нельзя сесть в электрический трамвай.

Таким образом немцы сохраняют свое своеобразие. Здесь купцу незачем ухаживать за покупателями. Я как-то сопровождал в Мюнхене одной барышне-англичанке в ее экскурсии по магазинам. Она привыкла к таким экскурсиям в Лондоне и Нью-Йорке и ворчала на все, что ей показывали; не потому, что ей ничего не нравилось, а потому, что у нее была такая привычка. Она считала полезным и для дела, и для купца уверять, что все это она может купить в другом месте гораздо лучше и дешевле, что в его магазине вещи совершенно безвкусные, старомодные; что не из чего выбирать, что все вульгарное и не будет хорошо носиться.

Купец не спорил и не противоречил. Он спокойно уложил весь вынутый товар в картонки, поставил их на полки, вышел в маленькую гостиную за магазином и запер дверь.

– Что же это он не возвращается! – заметила барышня после того, как мы несколько минут просидели в ожидании. Ее тон выражал большое нетерпение, но ни вопроса, ни недоумения в нем не было.

– Я не думаю, чтобы он возвратился, – отвечал я.

– Почему? – спросила она в большом удивлении.

– Мне кажется, вы ему надоели. По всей вероятности он сидит теперь за этими дверьми с газетой и трубкой в зубах.

– Вот чудак! Я таких купцов никогда не видала! – воскликнула с негодованием моя знакомая, собирая свои пакеты и выходя из лавки.

– У них такой обычай: если вам вещи нравятся, покупайте, а если не нравятся, то они предпочитают не заниматься лишним разговором.

В другой раз я слышал в курительной комнате немецкой гостиницы рассказ англичанина, который я на его месте оставил бы про себя.

– Нечего и стараться, – трещал маленький англичанин, – сконфузить немца! Да они и дела не понимают. Вот здесь, на площади, я увидел в окне старинное издание «Разбойников»; захожу и спрашиваю цену. За конторкой сидит с газетой какой-то несимпатичный старикашка.

– Двадцать пять марок, – говорит, и продолжает читать.

Я ему говорю, что видел несколько дней тому назад лучший экземпляр и всего за двадцать марок. (Известное дело, ведь всегда так разговаривают, когда покупают.) А он спрашивает:

– Где?

– В Лейпциге, – говорю.

Тогда он, представьте себе, спокойно советует мне ехать в Лейпциг и купить там книжку! Ну я, конечно, не обращаю внимания и спрашиваю, за сколько он уступит свой экземпляр.

– Я уже вам сказал, – говорит, – за двадцать пять марок. – Удивительно несимпатичный человек!

– За это не стоит платить таких денег, – говорю я.

– А разве я сказал вам, что стоит? – так и брякнул, представьте себе!

– Десять марок хотите?..

Тут он встал. Я думал, он выходит из-за прилавка, чтобы достать книгу, а он, оказывается, прямо подошел ко мне – огромный мужчина! – поднял меня за плечи и выставил на улицу! И ничего не сказал, только дверь захлопнул. Я никогда в жизни не был так поражен.

– Может быть, книжка стоила двадцати пяти марок? – заметил я.

– Конечно, стоила! Очень даже стоила! – отвечал маленький англичанин. – Но что же это за понятие о торговле?!

Если немецкий характер когда-нибудь переменится, то только благодаря немецкой женщине. Сама она быстро изменяется – как говорится, идет вперед. Десять лет тому назад ни одна немка, которой была дорога добрая слава и надежда выйти замуж, не посмела бы сесть на велосипед; теперь же они разъезжают по стране тысячами; старики при виде их качают головами, но молодые люди догоняют на своих велосипедах и едут рядом. Еще недавно катанье на коньках признавалось достаточно женственным только в том случае, если девушка беспомощно висела на руке своего родственника мужского пола, теперь же она самостоятельно выписывает восьмерки в углу пруда целыми часами, пока не придет на помощь какой-нибудь юноша. Она и в лаун-теннис теперь играет, и я даже наблюдал однажды – с безопасной позиции, – как девушка правила лошадьми в двухколесном экипаже.

Она всегда хорошо образована; в восемнадцать лет она владеет двумя или тремя языками и уже забыла больше, чем английская женщина когда-либо знала. Тем не менее образование немкам впрок не идет: выйдя замуж, она спешит освободить ум от лишнего балласта и предается кухне, где собственноручно изготавливает плохие кушанья.

Но предположим, ее осенит догадка, что женщине незачем посвящать себя всецело кухне, как мужчине незачем превращаться в деловую машину. Предположим, что она захочет принять участие в общественной жизни своей страны!.. О, тогда ее влияние, как здорового и разумного друга, будет огромно и прочно.

Ведь надо помнить, что немец сентиментален и легко поддается женскому влиянию. Если говорится, что он самый лучший жених и самый скверный муж, то в этом виновата немецкая женщина: выйдя замуж, она не только забывает всю поэзию и романтическую обстановку, но гонит их из дома щеткой и метлой. Даже девушкой она не умела одеваться, а замужем немедленно забросит последние порядочные платья и начнет напяливать на себя что попало – по крайней мере, такое получается впечатление. Она начинает ненавидеть свою фигуру, которая могла бы остаться фигурой Юноны, и свой цвет лица здорового амура – и начинает сознательно портить то и другое. Поклонение своей красоте она спешит променять на ежедневную порцию сладостей, после каждого обеда она отправляется в кофейню и набивает себя сладкими пирогами с кремом, запивая их обильным количеством шоколада. Конечно, в короткий промежуток времени она становится жирной, рыхлой, неповоротливой и положительно неинтересной. Когда она поборет в себе эту слабость и склонность к вечерней порции пива, когда постарается сохранить с помощью физических упражнений свою фигуру и перестанет забрасывать после замужества все книжки, кроме поваренной, тогда страна найдет в ней новую неведомую силу. И, по-видимому, эта сила начинает уже проявляться в разных местах государства.

Интересно было бы видеть, что тогда произойдет; потому что немецкая нация все еще молода, и ее сила имеет значение для нашего мира; они народ добрый, хороший, который мог бы принести другим пользу, одно можно против них сказать – что они считают себя лучше всех, это глупо. Они настолько увлекаются, что ставят себя выше англосаксов. Это так трудно понять, что можно объяснить только притворством.

– Конечно, у немцев есть достоинства, – заметил Джордж, – но немецкий табак я считаю смертным грехом всей нации. Я иду спать.

Мы встали и облокотились на низкую каменную ограду, следя за меркнущими огоньками на тихой, темной реке.

– В общем, наш «Bummel» удался, – сказал Гаррис. – Мне уже хочется домой, но в то же время жаль, что все кончено. Не знаю, понимаете ли вы это чувство.

– А как ты объяснишь немецкое слово: «Bummel»? – спросил Джордж.

Я задумался на минуту, прислушиваясь к неумолчному говору бегущей воды.

– Мне кажется, его можно объяснить так, – сказал я. – Бесцельный путь – длинный ли – короткий ли, определяемый только известным периодом времени, после которого мы должны вернуться туда, откуда вышли. Иногда этот путь лежит по шумным улицам, иногда по полям и мирным дорожкам; иногда нам дается на него несколько часов, а иногда – долгое время; но где бы он ни пролегал и сколько бы ни продолжался – наша мысль вьется по нему, как струйки сыпучего песка. Мимоходом мы улыбаемся и киваем головой своим спутникам, возле некоторых останавливаемся поговорить, с другими – проходим вместе несколько шагов. Встречаем много привлекательного по пути, хотя часто устаем немного. Но в общем, путь пройден с интересом, и нам становится жаль, когда все кончено!